

КУРТ ВОННЕГУТ



МАТЕРЬ ТЬМА



КУРТ

ВОННЕГУТ

МАТЕРЬ ТЬМА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

КУРТ ВОННЕГУТ

МАТЕРЬ ТЬМА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК821.111-31(73)

ББК84(7Coe)-44

В73

Серия «Эксклюзивная классика»

Kurt Vonnegut

MOTHER NIGHT

Перевод с английского *В. Бернацкой*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Художник *С. Неживясов*

Печатается с разрешения издательства Dial Press,
an imprint of Random House,
a division of Penguin Random House LLC
и литературного агентства Nova Littera SIA.

Воннегут, Курт.

В73 Матерь Тьма : [роман] / Курт Воннегут ; [пер. с англ. В. Бернацкой]. — Москва : Издательство АСТ, 2017. — 224 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-099474-8

Один из лучших, самых глубоких и страстных романов Курта Воннегута — роман, неожиданно для него простой и реалистичный по форме. История Говарда Кэмпбелла — героя и преступника, американского писателя, живущего в гитлеровской Германии, разведчика, вынужденного выдавать себя за ярого нациста и вести пропагандистские передачи на радио.

Можно ли во имя победы добра служить злу? Проповедовать насилие, даже если знаешь, что в конечном итоге это поможет прервать смертельный ход безжалостной машины для убийства? Где грань между Светом и Тьмой и как удержаться на этой грани? Курт Воннегут задает себе и всем нам один из вечных вопросов, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Kurt Vonnegut, Jr., 1961, 1966

© Перевод. В. Бернацкая, 2016

ISBN 978-5-17-099474-8

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Посвящается Мата Хари

Где тот мертвец из мертвых,
Чей разум глух для нежных слов:
«Вот милый край, страна родная!»
В чьем сердце не забрезжит свет,
Кто не вздохнет мечте в ответ,
Вновь после странствий многих лет
На почву родины вступая?

Вальтер Скотт.
Песнь последнего менестреля.
*Песнь шестая**.

* Перевод Т. Гнедич. — Здесь и далее примеч. пер.

Вступление

Это единственная моя история, из которой можно вынести мораль. Я не думаю, что она отличается какой-то особой новизной, но все же решил поделиться ею: мы — те, кем притворяемся, и потому нужно очень тщательно продумывать образ, который мы на себя берем.

Мое личное знакомство с нацистскими «штучками» весьма ограничено. В тридцатые годы в моем родном городе Индианаполисе были мерзкие и энергичные типы, называвшие себя американскими фашистами, и, помнится, один из них подсунил мне экземпляр «Протоколов сионских мудрецов», из которого следовало, что у евреев существует секретный план завоевания мира. И еще я помню насмешки над моей тетушкой. Она вышла замуж за подлинного немца из Германии, и потому ей пришлось писать в Индианаполис, требуя подтверждения, что в ней нет еврейской крови. Наш мэр знал тетушку в школьные времена и даже посещал с ней вместе танцевальный класс, поэтому он с удовольствием украсил затребованные немецкими властями документы многочисленными ленточками и печатями, после чего они стали напоминать мирный договор восемнадцатого века.

Вскоре началась война, меня призвали в армию, я попал в плен, и пока боевые действия продолжались, смог кое-что узнать о Германии изнутри. Я служил рядовым в батальонной разведке и, согласно Женевской конвенции, должен был содержать себя сам, что было скорее хорошо: мне не приходилось постоянно сидеть в тюрьме где-то за городом. Я ездил в город, в Дрезден, видел людей и их жизнь.

В нашей группе было человек сто, мы работали по контракту на фабрике, изготавливавшей насыщенный витаминами солодовый напиток для беременных. Он напоминал жидкий мед с ореховым привкусом. Хотелось бы сейчас его попробовать. И сам город был красив — изысканный, как Париж, и совершенно не тронутый войной. Возможно, он считался нейтральным городом, который нельзя было бомбить: ведь в нем не стояли войска и отсутствовали заводы.

Но в ночь на 13 февраля, примерно двадцать один год назад, американские и британские самолеты сбросили на Дрезден фугасные бомбы. У летчиков не было определенных мишеней. Цель была в том, чтобы создать очаги пожара, а пожарных загнать под землю. А потом на город посыпались сотни тысяч мелких зажигательных бомб — они падали как семена на свежевспаханную землю. Их бросали, чтобы пожарные не высывались из укрытий, и все мелкие огни соединялись и сливались до тех пор, пока не превратились в огромное апокалиптическое пламя. И вот — огненная буря. Это, кстати, была величайшая бойня в европейской истории. Ну, и кому до этого дело?

Мы не удосужились стать свидетелями разгулявшейся огненной стихии, поскольку находились в сопровождении шести охранников в прохладном хранилище под скотобойней среди рядов освеженных бычьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Слышали, как над нами рвались бомбы. Иногда с потолка сыпалась штукатурка. Выгляни мы на улицу — сразу погибли бы.

В результате обстрела люди превращались в обугленные головешки в два-три фута длиной или, если вам так больше нравится, в огромных жареных кузнечиков.

Фабрику по производству солодовых напитков стерли с лица земли. Всю, кроме подвалов, где Гензели и Гретели в количестве 135 000 испеклись, как пряничные человечки. Нас направили искать убежища, откапывать трупы и выносить их наверх. Там я увидел много немцев самого разного возраста в том положении, когда их настигла смерть. На коленях они обычно держали ценности. Иногда за нашими раскопками наблюдали родственники. Они тоже были по-своему интересны.

Вот и все, что связывает меня с нацистами.

Если бы я родился в Германии, то мог бы стать нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя в снегу ботинки и согреваясь от мысли, что творю благое дело. Такие дела!

Сейчас, когда я обо всем этом думаю, еще одна истина открывается мне: если уж вы мертвы, то мертвы. Но и она не последняя: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам только на пользу.

Айова-Сити, 1966.

От редактора

Готовя американское издание «Исповеди Говарда У. Кэмпбелла-младшего», я имел дело с рукописью, в которой не просто излагались или извращались события. Кэмпбелл был писателем, а не только человеком, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, и одно время считался неплохим драматургом. А раз он являлся писателем, то одни лишь законы искусства могли заставить его лгать и не видеть в этом ничего дурного. Сочинительство пьес должно еще больше насторожить читателя, потому что нет более искусного лжеца, чем человек, который искажает жизнь и страсти других людей, давая им гротескное изображение на сцене.

Теперь, когда я начал говорить о лжи, рискну пофантазировать и о той лжи, которая нацелена на создание художественного эффекта. В театре, например, и, возможно, в исповеди Кэмпбелла она становится — в высшем смысле — наиболее приятательной формой правды.

Конечно, со мной как с редактором можно не соглашаться. Полемика не в моем вкусе. Просто в меру своих сил я старался точно передать исповедь Кэмпбелла.

Что до моей правки, то она практически отсутствует. Кое-где я исправил ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и внес курсив.

Я также изменил некоторые имена, чтобы избавить от смущения и неловкости еще живущих и ни в чем не повинных людей. Так, имена Бернарда Б. О'Хара, Гарольда Дж. Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Также выдуман личный номер Спэрроу и название, какое я дал в тексте отделению Американского легиона*, не существует и отделение Френсиса Х. Донована в бруклинском Американском легионе.

Мою скрупулезность можно лишь однажды подвергнуть сомнению. Это касается Главы 22, в которой Кэмпбелл цитирует три свои стихотворения на английском и немецком языках. В рукописи английские варианты абсолютно понятны. Что касается немецких, то Кэмпбелл воспроизвел их по памяти, и они до такой степени пестрят переделками, что невероятно трудны для чтения. Кэмпбелл больше гордился своими сочинениями на немецком языке и довольно равнодушно относился к тем, что написаны на английском. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переписывал немецкие варианты — они его не удовлетворяли.

Желая приблизиться к исходному немецкому варианту, я решил проделать тщательную работу по его воссозданию. Выполнила это ювелирное зада-

* Военно-патриотическая организация ветеранов Первой мировой войны.

ние, собрав, так сказать, вазу из осколков, миссис Теодор Роули из Котуита, штат Массачусетс, блестящий лингвист и сама уважаемая поэтесса.

Значительные сокращения я сделал только в двух местах. В главе 39 убрал кое-что по требованию издательского юриста. В оригинале у Кэмпбелла один из Железных гвардейцев* из организации «Белые сыновья американской конституции» кричит немцу: «Я больше американец, чем ты! Мой отец придумал “День гражданина”!» По утверждению свидетелей, подобное заявление действительно было сделано, но без особых оснований. Юрист полагал, что воспроизведение в тексте этого выкрика может оскорбить тех, кто действительно придумал «День гражданина».

Кстати, в той же самой главе Кэмпбелл, по словам очевидцев, предельно точно передает сказанное. Все сходятся на том, что предсмертные слова Рези Нот воспроизведены верно.

Еще одно сокращение я сделал в главе 23, которая в оригинале порнографична. Я счел бы за честь привести главу полностью, если бы сам Кэмпбелл не попросил прямо в тексте редактора о некой ее кастрации.

Название записок принадлежит Кэмпбеллу, оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гёте, который в переводе звучит следующим образом:

«А я — лишь части часть, которая была
В начале всей той Тьмы, что свет произвела,
Надменный свет, что спорить стал с рожденья

* Герой американских комиксов.

С могучей ночью, Матерью творенья.
Но все ж ему не дорасти до нас!
Что б он ни породил, все это каждый раз
Неразделимо связано с телами,
Произошло от тел, прекрасно лишь в телах,
В границах тел должно всегда остаться,
И, право, кажется, недолго дожидаться —
Он сам развалится с телами в тлен и прах»*.

Посвящение тоже принадлежит Кэмпбеллу. Вот что он писал о нем в главе, от которой впоследствии отказался:

«Еще не зная, какой окончательно будет моя книга, я посвятил ее Мата Хари. В интересах шпионажа она торговала своим телом, нечто подобное делал и я.

Теперь, когда часть книги написана, я предпочел бы посвятить ее личности менее экзотической, не ставшей мифом, более современной, а не героиней немого кино.

Я посвятил бы ее человеку знакомому — мужчине или женщине, — известному своими злыми, безнравственными поступками, который, однако, считал бы при этом: «Настоящий я, добрый, сотворенный на небесах, глубоко запрятан внутри».

У меня перед глазами много подобных примеров, я мог бы перечислить их с быстротой песенскороговорок Гилберта и Салливана**, однако ни один не подходит больше моего.

* Пер. Н. Холодковского.

** Либреттист и композитор Викторианской эпохи.

Тогда позвольте мне оказать себе честь и перепосвятить эту книгу Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, человеку, который слишком явно сеял зло и слишком тайно — добро, что в его время было преступлением.

Курт Воннегут-младший

**ИСПОВЕДЬ ГОВАРДА
У. КЭМПБЕЛЛА-МЛАДШЕГО**

Глава 1

ТИГЛАТПАЛАСАР III*

Мое имя — Говард У. Кэмпбелл-младший. По рождению — американец, по репутации — нацист, по склонностям — человек мира. Эту книгу я пишу в 1961 году. Адресую ее мистеру Тувия Фридману, директору Института документальной информации о военных преступниках, расположенного в Хайфе, а также тем, кого это может заинтересовать.

Почему моя книга может быть любопытна мистеру Фридману? Ее написал человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — спец в подобных вопросах. Он жаждет любых свидетельств, какие пополнят архив нацистских злодеяний, и настолько раззадорился, что предоставил мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность пользоваться услугами научных ассистентов, которые найдут любые материалы, если те понадобятся для полноты и точности моей работы.

Я сижу в тюрьме.

Я сижу в прекрасной новой тюрьме в старом Иерусалиме. И жду справедливого суда государства Израиль за свои военные преступления.

* Царь Ассирии; правил 745—727 гг. до н. э.

Занятой пишущей машинкой наградил меня мистер Фридман — и вполне уместной. Она явно изготовлена в Германии во время Второй мировой войны. Откуда мне это известно? Нет ничего проще: на ее клавиатуре есть символ, который до Третьего рейха не ставился на пишущих машинках и впредь никогда не будет ставится. Эти тонкие, сдвоенные стрелы-молнии обозначали зловещие эсэсовские Schutzstaffel*, наиболее фанатичное крыло нацизма.

Всю войну я работал на такой машинке в Германии. Когда приходилось писать о Schutzstaffel, что я делал часто и с энтузиазмом, то не прибегал к аббревиатуре СС, а ударял по клавише с устрашающими и магическими сдвоенными молниями.

Древняя история.

Я в плену у древней истории. Камера, где я загниваю, новая, но, как мне сказали, некоторые камни здесь вырезаны во времена царя Соломона.

Когда смотрю сквозь тюремное окно на задорную и раскованную молодежь молодого государства Израиль, я ощущаю, что мои военные преступления, да и я сам, такие же древние, как серые камни царя Соломона.

Как давно была эта война — Вторая мировая война! Военные преступления канули в прошлое!

Все уже почти забыто, даже евреями, по крайней мере, молодыми.

Один из моих охранников ничего не знает об этой войне. Ему она неинтересна. Его зовут Ар-

* Охранные отряды (нем.).

нольд Маркс. У него огненно-рыжие волосы. Арнольду всего восемнадцать лет. Значит, когда не стало Гитлера, он был трехлетним малышом, и его еще на свете не было, когда началась моя карьера военного преступника.

Арнольд охраняет меня с шести утра до полудня. Он родился в Израиле. И нигде больше не был.

Его родители уехали из Германии в начале тридцатых годов. Он рассказывал, что дед был награжден «Железным крестом» в Первую мировую войну.

Арнольд учится на юриста. У него с отцом, оружейником, есть общее хобби — археология. Значительную часть свободного времени отец и сын проводят на раскопках Хазора*. Они работают там под руководством Игаэля Ядина, который во время войны с арабами был начальником штаба израильской армии.

Так вот.

Арнольд говорит, что Хазор — канаанитский город в северной Палестине — существовал, по меньшей мере, девятнадцать столетий до Рождества Христова, а за четырнадцать столетий до Христа израильская армия захватила его, уничтожила сорок тысяч жителей и сожгла дотла.

— Соломон возродил город, — рассказывал Арнольд, — но в 732 году до н. э. Тиглатпаласар III снова сжег его.

— Кто? — спросил я.

* Холм из остатков древних строений; расположен на севере Израиля.

— Тиглатпаласар III. Ассириец, — добавил он, желая подкаской подстегнуть мою память.

— А, — протянул я. — Значит, Тиглатпаласар III.

— Складывается впечатление, что вы о нем никогда не слышали, — заметил Арнольд.

— Так оно и есть, — признался я, пожав плечами. — Это, видимо, ужасно.

— Ну, — сказал Арнольд, скорчив мину недовольного учителя, — мне кажется, его должен знать каждый. Возможно, это самый выдающийся ассириец.

— Неужели? — удивился я.

— Если хотите, я принесу вам о нем книгу, — предложил Арнольд.

— Любезно с твоей стороны. Но мне, наверное, лучше поразмышлять о великих ассирийцах позднее. Сейчас голова забита мыслями о выдающихся немцах.

— О ком именно?

— Последнее время я много думаю о своем прежнем шефе Пауле Йозефе Геббельсе.

Арнольд смотрел на меня непонимающе:

— О ком?

Я отчетливо почувствовал, как пески Святой земли подкрадываются ко мне, чтобы похоронить, и ощутил толстый слой праха, который однажды накроет меня прочным одеялом. Я знал, что надо мной тридцать или сорок футов разрушенных городов, а подо мной — куча кухонных отходов, один-два храма и Тиглатпаласар III.

Глава 2

ОСОБАЯ КОМАНДА...

Ежедневно в полдень Арнольда Маркса сменял другой охранник, мужчина примерно моего возраста, а мне сорок восемь лет. Он хорошо помнит войну, но вспоминать о ней не любит.

Его зовут Андор Гутман. Это вялый, не слишком умный эстонский еврей. Два года он провел в Освенциме и неохотно признается, что только случай спас его от топки крематория.

— Меня как раз назначили в зондеркоманду, — сказал он, — когда пришел приказ от Гиммлера закрыть печи.

Зондеркоманда — особый отряд в Освенциме, поистине особый. Состоял он из заключенных, в чьи обязанности входило провожать обреченных людей в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда мертвые тела. После окончания работы уничтожались и члены зондеркоманды. Их преемники начинали с того, что убирали их останки. По словам Гутмана, многие сами вызывались служить в зондеркоманде.

— Почему? — удивился я.

— Если вы напишете книгу и в ней дадите ответ на этот вопрос, это будет великая книга.

— А сам ты знаешь ответ?

— Нет. Вот почему я заплатил бы любые деньги за книгу, где найду его.

— А у тебя есть предположения?

— Нет, — произнес он, глядя мне в лицо, — хотя я сам был из тех, кто просился в команду.

После этого признания Гутман ненадолго ушел. Он вспоминал Освенцим, время, которое он меньше всего любил вспоминать. Вернувшись, он сказал мне:

— По всему лагерю были развешаны громкоговорители, они не замолкали ни на минуту. Играла музыка. Знатоки говорили, что музыка часто была хорошая, иногда — самая лучшая.

— Интересно.

— Не было только музыки, написанной евреями. Это запрещалось.

— Естественно.

— Музыку всегда обрывали посередине и делали объявления. Так продолжалось весь день — музыка и объявления.

— Как и сейчас, — заметил я.

Гутман закрыл глаза, словно связывая обрывки воспоминаний.

— Одно объявление всегда напевали вполголоса, как детскую песенку. Оно звучало часто. Так вызывали зондеркоманду.

— Вот как? — сказал я.

— *Leichentriger zu Wache*, — пропел он с закрытыми глазами. — «Уборщики трупов — на работу». В заведении, цель которого — уничтожение миллионов человеческих жизней, это звучит естественно. Если два года слышишь, как обрывается музыка и из громкоговорителя звучит этот призыв, работа уборщика трупов кажется не такой уж плохой.

— Понимаю, — промолвил я.

— Понимаете? — Гутман покачал головой. — А я вот понять не могу. Мне всегда будет стыдно, что я хотел добровольно идти в зондеркоманду. Очень стыдно.

— Я так не думаю.

— А я думаю. Стыдно. И больше не хочу об этом говорить.

Глава 3

БРИКЕТЫ...

В шесть часов вечера Андора Гутмана неизменно сменяет Арпад Ковач — человек-фейерверк, шумный и веселый.

Вчера, заступив на службу, он потребовал, чтобы я показал ему все, что написал. Я дал ему последние страницы, и Арпад, размахивая ими, разгуливал по коридору, всячески расхваливая написанное.

Он не прочитал ни строчки, однако хвалил за то, что, по его мнению, там было.

— Врежьте этим слабакам! — воскликнул он вчера. — Расскажите, что думаете о самодовольных брикетах.

Под «брикетами» Арпад подразумевал людей, которые не сделали ничего для спасения своей жизни или жизни других людей, а покорно шли в газовые камеры, куда их гнали нацисты. На самом деле брикет — спрессованный блок угольной крошки, прекрасно приспособленный для перевозки, хранения и сжигания.

Когда у Арпада как у еврея возникли проблемы в нацистской Германии, он не стал «брикетом». На-

против, раздобыл фальшивые документы и вступил в венгерский отряд СС.

Это было основой его расположения ко мне.

— Расскажите им, что должен делать человек, чтобы выжить! Нет ничего почетного в том, чтобы оставаться «брикетом».

— Ты слышал мои радиопередачи? — спросил я.

Эти передачи и легли в основу обвинений против меня. Я был проводником нацистских идей, хитрым и мерзким антисемитом.

— Нет, — ответил Арпад.

Я показал ему текст радиопередачи, предоставленный мне институтом в Хайфе.

— Прочитай, — сказал я.

— А чего читать? — отозвался он. — Тогда все твердили одно и то же — снова, и снова, и снова.

— Все-таки прочитай — сделай одолжение, — попросил я.

Пока Арпад читал, его лицо мрачнело. Вернув бумаги, он произнес:

— Вы меня разочаровали.

— Неужели?

— Слабый текст. Ни стержня, ни изюминки, ни энергии. А я думал, вы источаете расовую ненависть.

— Разве нет?

— Если кто-нибудь из нашего эсэсовского отряда так дружелюбно отозвался бы о евреях, я расстрелял бы его за измену. Геббельсу следовало бы прогнать вас и нанять меня — уж я бы постарался! Разнес бы их в пух и прах!

— Вы и так не дремали в СС, — заметил я.

Арпад засветился от счастья, вспомнив свои дни в СС.

— Какой из меня получился ариец! — похвастался он.

— И никто тебя не заподозрил?

— Кто бы посмел? Я был такой неподдельный, устрашающий ариец — меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, как евреи заранее узнают, что именно собираются предпринять эсэсовцы. Была явная утечка информации, и с этим надо было кончать. — Вид у него был расстроенный и обиженный, несмотря на то, что именно он являлся этим «кротом».

— Ну и как? Справился отдел с задачей?

— Мне приятно сообщить, что по нашей наводке расстреляли четырнадцать эсэсовцев. Сам Адольф Эйхман* поздравил нас.

— Ты видел его? — спросил я.

— Да, но тогда, к сожалению, не знал о его важной миссии.

— Ну и что?

— Я убил бы его.

Глава 4

КОЖАНЫЕ РЕМНИ...

Бернард Менгель, польский еврей, тоже примерно моего возраста, дежурит в тюрьме с полночи до шести часов утра. Во время Второй мировой

* Сотрудник гестапо, непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев.

войны он спас себе жизнь, прикинувшись мертвым, и, когда немецкий солдат вырвал у него три зуба, думая, что перед ним труп, даже не пошевелился. Солдат позарился на золотые зубы Менгеля. И он их получил.

По словам Менгеля, в камере я сплю спокойно — всю ночь мечусь и разговариваю во сне.

— Вы единственный человек, — сказал он этим утром, — кого мучает совесть за военное прошлое. Все остальные — безразлично, на чьей стороне они были и чем занимались, — считают, что порядочные люди не могли поступать иначе.

— А с чего ты взял, что меня мучает совесть?

— Иначе вы спали бы не так беспокойно, — ответил он. — Даже у Хесса сон был лучше. Да самого конца он спал, как ангел.

Менгель имел в виду Рудольфа Франца Хесса, коменданта Освенцима. Это из-за его отеческой заботы миллионы людей погибли в газовой камере. Менгель знал кое-что о Хессе. Перед тем как эмигрировать в Израиль в 1947 году, он помог повесить Хесса. И сделал это не с помощью свидетельских показаний, а своими двумя большими руками.

— Когда Хесса вешали, — рассказывал Менгель, — я затянул его ноги ремнями потуже.

— Тебе это доставило удовлетворение? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — ведь я не отличался от других, прошедших эту войну.

— Что ты имеешь в виду?

— Я столько всего испытал, что стал бесчувственным. Мне было безразлично, что делать; ка-

залось, каждая работа — не лучше и не хуже иной. После того как мы повесили Хесса, я собрал свои вещички, чтобы вернуться домой. На чемодане сломался замок, и тогда я затянул его большим кожаным ремнем. Дважды за час я выполнил одну и ту же работу — сначала с Хессом, а потом со своим чемоданом. И то и другое делал с полнейшим равнодушием.

Глава 5

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛНАЯ МЕРА...

Я тоже знал Рудольфа Хесса, коменданта Освенцима. Познакомился с ним в Варшаве на приеме в честь Нового, 1944 года. Хесс слышал, что я писатель, и, отведя меня в сторону, признался, что хотел бы уметь сочинять.

— Как я завидую вам, творческим людям, — сказал он. — Способность творить — дар богов.

По его словам, он мог бы рассказать потрясающие истории. Все они правдивы до последнего слова, но люди неспособны поверить в них.

Он не может поведать об этом до конца войны. А когда война закончится, мы могли бы стать со-авторами, сказал Хесс.

— Рассказывать я умею, а писать — нет. — Хесс посмотрел на меня, ища участия. — Когда сажусь за машинку, я словно скованный.

Что я делал тогда в Варшаве? Меня послал туда мой шеф, рейхсляйтер, доктор Пауль Йозеф Геббельс, глава германского Министерства народного просвещения и пропаганды.

У меня был небольшой опыт драматурга, и доктор Геббельс хотел, чтобы я применил его. Надо было написать пьесу, прославлявшую немецких солдат, которые до конца демонстрировали свою преданность и погибли при подавлении восстания евреев в Варшавском гетто.

Доктор Геббельс мечтал о ежегодном пышном зрелище после войны в Варшаве в честь этого события и предполагал сохранить остатки гетто как декорации к спектаклю.

— А евреи будут участвовать в представлении? — спросил я.

— Конечно, тысячи, — ответил Геббельс.

— А позвольте поинтересоваться, где вы отыщете после войны евреев?

Он оценил юмор.

— Хороший вопрос, — сказал он, хихикнув. — Надо будет обсудить его с Хессом.

— С кем? — Знакомство в Варшаве с братцем Хессом еще не состоялось.

— Он управляет небольшим курортом для евреев в Польше, — пояснил Геббельс. — Нужно попросить его сохранить для нас немного евреев.

Может, к списку моих военных преступлений еще прибавили и эту жуткую пьесу? Нет, слава Богу! Дело не пошло дальше рабочего названия «Последняя полная мера».

Хочу признаться, что я, наверное, написал бы ее, если бы имел достаточно времени и на меня надавило бы начальство.

На самом деле я почти во всем готов признаться.

Что касается этой пьесы: неожиданным результатом явился интерес Геббельса, а затем и самого Гитлера к произнесенной в Геттисберге речи Авраама Линкольна. Геббельс спросил, откуда я взял рабочее название пьесы, и тогда я перевел для него Геттисбергскую речь. Он прочитал ее, шевеля губами.

— Знаете, — произнес Геббельс, — эта речь — блестящий пример пропаганды. Мы не так далеко ушли от прошлого, как хочется думать.

— На моей родине это очень известная речь, — заметил я. — Каждый школьник обязан знать ее наизусть.

— Вы скучаете по Америке?

— Скучаю по ее горам, рекам, просторным равнинам, лесам. Но когда там правят бал евреи, я не могу быть счастливым.

— В свое время о них позаботятся, — утешил меня Геббельс.

— С нетерпением жду этого — как и моя жена, — отозвался я.

— Как она? — спросил он.

— Благодарю вас, цветет.

— Красивая женщина.

— Обязательно передам жене ваши слова. Ей будет приятно.

— А что касается речи Авраама Линкольна...

— Да?

— Там есть слова, которые можно было бы с успехом произносить на немецких военных кладбищах, — сказал он. — Честно говоря, я не в вос-

торге от большинства наших надгробных речей. А здесь есть именно недостающие размах и величие. Хотелось бы послать эту речь Гитлеру.

— Поступайте, как сочтете нужным.

— А Линкольн не был евреем? — уточнил Геббельс.

— Уверен, нет.

— Я попал бы в неловкое положение, если бы оказалось, что он еврей.

— Никогда даже не слышал о подобном предположении, — заверил я.

— Настораживает подозрительное имя Авраам.

— Думаю, родители не знали, что это еврейское имя. Им просто понравилось, как оно звучит. Это были простые люди с пограничных земель. Знай родители, что имя еврейское, дали бы сыну американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фреда.

Через две недели Гитлер вернул Геттисбергскую речь. Сверху была прикреплена записка от самого фюрера. «В некоторых местах я чуть не прослезился. Все северные народы едины в своем преклонении перед солдатами. Возможно, это нас больше всего сближает».

Странно, но мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Хесс, ни Геринг, или кто-либо другой из кошмарных деятелей войны под номером «два». Мне снились женщины.

Я спросил у Бернарда Менгеля, который сторожил меня в ночные часы здесь, в Иерусалиме, не догадывается ли он, какие я вижу сны.

— Прошлой ночью? — спросил он.

— Любой, — ответил я.

— Прошлой ночью вам снились женщины. Вы повторяли два имени.

— Какие?

— Одно — Хельга.

— Это моя жена, — объяснил я.

— А другое — Рези.

— Младшая сестра жены. Просто имена — и ничего больше?

— Вы сказали: «Прощайте».

— Прощайте, — повторил я. В этом был смысл. Во сне или наяву — Хельга и Рези ушли навсегда.

— Еще вы называли Нью-Йорк, — добавил Менгель. — Сначала говорили что-то невнятное, потом четко произнесли «Нью-Йорк» и снова забормотали.

И в этом тоже был смысл, как и во всем, что мне снилось. До Израиля я долго жил в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк, наверное, настоящий рай, — мечтательно произнес Менгель.

— Для тебя — возможно, — ответил я. — Но для меня это был ад. Даже не ад, а нечто похуже.

— Что может быть хуже ада? — удивился он.

— Чистилище.

Глава 6

Чистилище

Что касается «чистилища» в Нью-Йорке: я томился там пятнадцать лет.

Я исчез из Германии в конце Второй мировой войны и вынырнул, неузнанным, в Гринич-Виллидж. Здесь я снял унылую квартирку под самой

крышей, где крысы пищали и скреблись в стены. Я жил в ней, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда.

И все-таки на моем мерзком чердаке не все было так отвратительно. Из заднего окна виднелся частный садик, крошечный уголок рая, огороженный со всех сторон от улиц прилегающими дворами и домами. Его хватало детям для игры в прятки. Часто из этого миниатюрного рая доносился детский крик, и каждый раз я останавливался и прислушивался. Этот нежный, печальный крик означал, что игра в прятки завершилась, и те, кого не нашли, должны выйти из укромных мест — пора идти домой.

«Раз, два, три — нет игры!»

И я, который скрывался от многих, жаждавших моей крови, часто мечтал, чтобы такой нежный, мелодичный крик раздался и для меня, положив конец бесконечной игре в прятки: раз, два, три — нет игры!

Глава 7

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Говард У. Кэмпбелл-младший, родился 16 февраля 1912 года в Шенектади, штат Нью-Йорк. Мой отец, родом из Теннесси, сын баптистского священника, работал инженером в отделе технического обслуживания компании «Дженерал электрик». В обязанности отдела входила установка, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, поставляемого в разные части света. Мой

отец, разъезжавший сначала только по территории Соединенных Штатов, редко бывал дома. Работа требовала от него таких многообразных технических знаний и умений, что он тратил на нее все свое время и воображение. Отец был создан для работы, а работа — для него.

В его руках я видел только одну книгу, не имевшую отношения к технике, — «Историю Первой мировой войны в иллюстрациях». В этой большой книге иллюстрации были размером фут на полтора. Похоже, отцу никогда не надоедало ее рассматривать, хотя на самой войне он не был.

Отец никогда не говорил мне, что значит для него эта книга, а я не спрашивал. Упомянул однажды, что книга не для детей, и я не должен в нее заглядывать. Но я, конечно, заглядывал — всякий раз, когда оставался дома один. Там были изображены люди, повисшие на колючей проволоке, изуродованные женщины, штабеля трупов — обычные приметы мировых войн.

Моя мать, урожденная Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианаполиса. Она была домохозяйкой и виолончелисткой-любительницей, играла в городском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже стал музыкантом. Но виолончелист из меня не вышел, потому что мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.

У меня не было ни братьев, ни сестер, а отец постоянно отсутствовал. Поэтому много лет я оставался единственным компаньоном матери. Она была красивая, талантливая, психически не совсем

здоровая женщина. Думаю, значительную часть времени она была под хмельком. Помню, однажды мать наполнила блюдо смесью алкоголя и столовой соли. Блюде поставила на кухонный стол, включила свет и усадила меня напротив. Затем мать поднесла к смеси зажженную спичку. Вспыхнувшее натриевое пламя было почти желтым; при таком свете она выглядела трупом, как и я.

— Вот так, — сказала мать, — мы будем выглядеть после смерти.

Это странное действие произвело глубокое впечатление не только на меня, но и на нее. Мать испугалась собственной эксцентричности, и с той поры я перестал быть ее компаньоном. После этого случая она почти не разговаривала со мной — не сомневаюсь, ее отчуждение возникло из-за страха сделать или сказать что-нибудь еще более странное.

Все это произошло в Шенектади, тогда мне было около десяти лет.

В 1923 году, когда мне исполнилось одиннадцать, отца послали работать в Германию — в берлинское отделение «Дженерал электрик». С тех пор мое образование, друзья, основной язык — все стало немецким.

Со временем я стал писать на немецком языке пьесы, женился на немецкой актрисе Хельге Нот — старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции. Мои родители уехали из Германии в 1939-м, когда началась война. Мы с женой остались.

До окончания в 1945 году войны я зарабатывал на жизнь как автор и диктор нацистских пропаган-

дистских передач, вещая на англоязычные страны. Я был ведущим экспертом по Америке в Министерстве народного просвещения и пропаганды. После войны оказался в первых рядах военных преступников, главным образом потому, что мои преступления свершались до неприличия открыто.

12 апреля 1945 года близ Герсфельда меня задержал лейтенант Бернард Б. О'Хара из американской Третьей армии. Я был на мотоцикле, без оружия. Мне полагалась униформа — голубая с золотом, но я ее не носил. На мне была штатская одежда — синий шерстяной костюм и изъеденное молью пальто с меховым воротником.

Случилось так, что за два дня до этого Третья армия заняла Ордруф — первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня отвезли туда и заставили смотреть на все это — насыпанные известью ямы, виселицы, столбы для порки и на горы трупов с вспоротыми животами, в струпьях, с вылезшими из орбит глазами. Американцы хотели показать, к чему привела моя деятельность.

На виселицах Ордруфа можно было повесить одновременно шестерых. Сейчас там на каждой веревке болталось по охраннику. Ясно, что меня тоже собирались вздернуть. Я в этом не сомневался и с интересом смотрел, как спокойно висят на веревках шесть охранников. Они умерли быстро.

За этим занятием меня и сфотографировали. Позади стоял лейтенант О'Хара, тощий, как молодой волк, и полный ненависти, как гремучая змея.

Фотографию поместили на обложку журнала «Лайф», и она чуть не получила Пулитцеровскую премию.

Глава 8

AUF WIEDERSEHEN...

Меня не повесили.

Я совершил государственную измену, преступления против человечности и собственной совести, но остался жив. Вышел сухим из воды, потому что на протяжении всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии. Кодом могли быть подчеркнутая манерность речи, паузы, фразовое выделение, покашливание и даже запинки в ключевых предложениях. Я никогда не видел тех, кто давал мне инструкции, указывая, в каких местах передачи использовать данные приемы. До сих пор я не знаю, какая информация проходила через меня. По простоте кодов предполагаю, что просто отвечал «да» или «нет» на вопросы, которые задавались настоящим агентам. Иногда, как, например, во время подготовки высадки в Нормандии, инструкции усложнялись, и тогда моя речь звучала, как у больного в последней стадии двухсторонней пневмонии.

В этом заключалась моя помощь союзникам. И именно она спасла мою шею от веревки.

Мне обеспечили прикрытие. Американским агентом меня так и не признали, но мое дело прикрыли. Освободили по причине не существую-

щих документов о моем гражданстве и помогли скрыться.

В Нью-Йорк я вернулся под вымышленным именем, тогда и начал новую жизнь на чердаке с крысами и видом на тайный садик.

Обо мне забыли — и настолько, что я вернул себе прежнее имя, и никто не подозревал, что я тот самый Говард У. Кэмпбелл-младший.

Иногда я видел свое имя в газете или журнале — не отдельно, как имя некой важно персоны, а в длинном списке исчезнувших военных преступников. Ходили слухи, будто я скрываюсь в Иране, Аргентине, Ирландии... Говорили, что израильские агенты ищут меня повсюду.

И все же пока ни один агент не постучался в мою дверь. Никто не пришел за мной, хотя каждый мог прочитать на моем почтовом ящике: «Говард У. Кэмпбелл-младший».

Ближе всего к разоблачению я был под конец своего пребывания в чистилище Гринич-Виллидж, когда обратился к доктору еврею, жившему со мной в одном доме. У меня воспалился большой палец.

Доктора звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на втором этаже. Они недавно что въехали.

Я назвал свое имя, для доктора оно ничего не значило, но мать наострила уши. Эпштейн был молод, только что окончил медицинский институт. У матери, грузной, неповоротливой, морщинистой старухи, был печальный, настороженный взгляд.

— У вас известная фамилия, — сказала она. — Вы это наверняка знаете.

— Простите?

— Вы знаете кого-нибудь по имени Говард У. Кэмпбелл-младший? — спросила старуха.

— Думаю, где-нибудь такой найдется.

— Сколько вам лет?

Я ответил.

— Тогда вы должны помнить войну.

— Хватит о войне, — попросил ее сын ласково, но твердо. Он бинтовал мой палец.

— И вы никогда не слышали радиопередач Говарда У. Кэмпбелла-младшего из Берлина? — поинтересовалась она.

— Теперь вспомнил, — кивнул я. — Совсем забыл. Так давно это было. Сам я его не слышал, но помню, что он работал в «новостях». Подобные вещи быстро забывается.

— Их надо забывать, — убежденно произнес доктор Эпштейн. — Они из того безумного времени, которое нужно забыть как можно скорее.

— Освенцим, — промолвила мать.

— Забудь про Освенцим!

— Вы знаете, что такое Освенцим? — спросила меня старуха.

— Да, — ответил я.

— Там я провела свои молодые годы, а мой сын — детство.

— Я никогда об этом не вспоминаю! — резко бросил доктор Эпштейн. — Так вот — через пару дней с вашим пальцем все будет в порядке. Держите его в тепле и не мочите. — Он подтолкнул меня к двери.

Я был уже на пороге, когда мать окликнула меня:

— Sprechen Sie Deutsch?

- Простите?
- Я спросила, говорите ли вы по-немецки?
- Нет, — покачал головой я. — Боюсь, что нет.
- Nein, — постарался как можно неувереннее произнести я. — Это ведь значит «нет», правда?
- Очень хорошо, — похвалила она.
- Auf wiedersehen, — сказал я. — Ведь так прощаются?
- До скорой встречи, — произнесла она.
- Ну, тогда — auf wiedersehen.
- Auf wiedersehen.

Глава 9

ПОЯВЛЕНИЕ МОЕЙ ВОЛШЕБНОЙ КРЕСТНОЙ

Американцы завербовали меня в агенты в 1938-м, за три года до вступления Америки в войну. Это произошло одним весенним днем в берлинском парке Тиргартен. Тогда я уже месяц был женат на Хельге Нот. Мне исполнилось двадцать шесть лет. Я был преуспевающим драматургом и писал на немецком языке, который знал лучше других. Моя пьеса «Чаша» шла и в Берлине, и в Дрездене. Еще одна, «Снежная роза», готовилась к постановке в Берлине. Я только закончил третью «Семьдесят раз по семь». Все три пьесы были написаны в духе средневековых романов и от политики были так же далеки, как шоколадные эклеры.

Сидя в солнечный день в парке на скамейке, я обдумывал четвертую пьесу, которая понемногу

обретала в моих мыслях форму. Пришло и название «Das Reich der Zwei» — «Государство двоих».

Эта пьеса будет о нашей любви с женой. В ней двое любящих друг друга людей спасаются в этом безумном мире, оставаясь верными государству, состоящему только из них, — государству двоих.

На скамейку напротив сел средних лет американец. Вид у него был глуповатый, как у заядлого болтуна. Он развязал шнурки на ботинках, чтобы дать отдых ногам, и стал читать чикагскую «Санди трибюн» месячной давности. Три статных офицера СС прошли по дорожке между нами. Когда они удалились, мужчина отложил газету и заговорил со мной на английском с чикагским выговором.

— Красивые ребята, — произнес он.

— Не спорю, — согласился я.

— Вы говорите по-английски?

— Да, — ответил я.

— Слава Богу, хоть кто-то здесь знает английский. Я с ног сбился, пытаюсь найти человека, с кем можно поговорить.

— Даже так?

— Что вы думаете обо всем этом, — начал он, — или здесь не разрешается задавать подобных вопросов?

— О чем именно?

— О том, что происходит в Германии. О Гитлере, евреях и прочем.

— Такие вещи от меня не зависят, и я предпочитаю не думать о них.

Он кивнул:

— Не ваша нужда, так?

— Простите? — не понял я.

— Я хотел сказать — не ваше дело.

— Да, — подтвердил я.

— Вы меня не поняли, когда я сказал «нужда» вместо «дела»?

— Это, наверно, сленг?

— В Америке так говорят. Не возражаете, если я к вам подсяду? Тогда не придется кричать.

— Как вам угодно.

— Как вам угодно, — повторил он, пересаживаясь ко мне. — Так может сказать англичанин.

— Я американец.

Он удивленно поднял брови:

— Неужели? Я пытался определить вашу национальность, но не сумел.

— Благодарю вас.

— Вы считаете это комплиментом? Поэтому сказали «благодарю вас»?

— Не комплиментом, но и не оскорблением, — объяснил я. — Национальность меня не интересует, как, возможно, должна была бы интересоваться.

Мой ответ, казалось, озадачил его.

— Простите, а кто вы по профессии?

— Писатель, — ответил я.

— Вот как? Какое совпадение. Я как раз сидел здесь и сожалел, что не умею сочинять: у меня в голове крутится интересная шпионская история.

— Любопытно.

— Могу подарить ее вам. Мне все равно не написать.

— У меня сейчас достаточно сюжетов — с ними бы справиться.

— А вдруг наступит момент, когда колодец иссякнет, и тогда вы сможете использовать мою историю? Итак, молодой американец живет в Германии, и живет так долго, что практически сам стал немцем. Он пишет пьесы на немецком языке, женат на красивой немецкой актрисе и знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые обожают вращаться в театральных кругах. — И американец на одном дыхании протараторил имена крупных нацистов и нацистов рангом ниже — всех тех, кого мы с Хельгой хорошо знали.

Нельзя сказать, что мы с Хельгой обожали нацистов, но и ненависти к ним не испытывали. Они составляли большую и наиболее восторженную часть нашей публики и играли важную роль в обществе, в котором мы жили.

Они были людьми.

Только со временем я стал понимать, какой страшный они оставили след.

Честно говоря, мне и сейчас трудно так думать. Я слишком хорошо знал их с другой стороны и в свое время старался завоевать доверие и аплодисменты этих людей.

Очень старался.

Аминь.

Очень старался.

— Кто вы? — спросил я человека из парка.

— Позвольте, я сначала доскажу свою историю, — произнес он. — Так вот, молодой человек знает, что надвигается война, и догадывается, что Америка будет на одной стороне, а Германия — на другой. И этот американец, который до сих пор

был просто на дружеской ноге с нацистами, решает сам прикинуться нацистом и, оставшись на время войны в Германии, становится незаменимым американским шпионом.

— Так вы знаете, кто я?

— Конечно, — ответил мой собеседник. Достав бумажник, он показал мне удостоверение американского Военного ведомства на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения. — А вот кто я. И я предлагаю вам стать американским агентом разведки, мистер Кэмпбелл.

— О, боже! — воскликнул я. В моем голосе прозвучали злость и обреченность. Я весь как-то сник. Но потом выпрямился и заявил: — Это просто нелепо. Нет, черт возьми, нет!

— Что ж, я не слишком расстроен, — сказал он. — Ведь окончательный ответ вы дадите не сегодня.

— Если вы воображаете, будто я, вернувшись домой, сразу начну обдумывать ваше предложение, то заблуждаетесь, — промолвил я. — Дома меня ждет вкусный обед в обществе красавицы жены, мы будем слушать музыку, заниматься любовью, а потом я крепко засну. Я не солдат, не политик, а художник. Если начнется война, я не приму в ней участие, а буду продолжать заниматься своим мирным ремеслом.

Майор покачал головой:

— Я желаю вам, мистер Кэмпбелл, всего самого хорошего, но эта война никого не оставит в покое. Жаль вас расстраивать, но чем хуже пойдут дела

у нацистов, тем меньше у вас шансов крепко спать по ночам.

— Посмотрим, — усмехнулся я.

— Да. Вот почему я сказал, что ваш ответ не окончательный. До него надо дорасти. И если вы скажете «да», что вам придется действовать самостоятельно и добиться высокого положения у нацистов.

— Занимательно.

— Да, — кивнул майор. — Вы будете настоящим героем, в сто раз более смелым, чем обычный человек.

Сухопарый, с хорошей военной выправкой генерал вермахта и тучный штатский с портфелем прошли мимо, говоря о чем-то со сдержанным волнением.

— Добрый день, — дружелюбно приветствовал их майор Виртанен.

Они лишь усмехнулись и даже не обернулись.

— С началом войны вы добровольно подписываетесь на то, что с вами все может случиться. Даже если вас не раскроют во время войны, готовьтесь к тому, что ваша репутация погибнет, и вам не для чего будет жить, — продолжил майор.

— Звучит заманчиво, — заметил я.

— Думаю, для вас это может быть заманчивым. Я видел вашу пьесу и читал другую, которую скоро поставят.

— Что вы из них узнали?

Майор улыбнулся:

— Вас восхищают чистые сердца и настоящие герои. Любите добро и ненавидите зло. И еще — верите в романтику.

Он не назвал основную причину, которая могла подвигнуть меня заняться шпионажем. Я любил играть на публику. А в качестве шпиона, как я понял, у меня будут неограниченные возможности актерствовать. Одурачу всех, блестяще прикидываясь нацистом, и в Германии и за ее пределами.

И я действительно всех одурачил. Стал вести себя как верный помощник Гитлера, и никто не знал, кто я на самом деле, так глубоко я прятал свои чувства.

Могу я доказать, что был американским агентом? Мое главное вещественное доказательство — невредимая, лилейно-белая шея, и это одно доказательство, какое у меня есть. Я приглашаю всех — тех, кто считает меня виновным, или, напротив, невиновным в преступлениях против человечности, обследовать ее.

Правительство Соединенных Штатов не подтверждает, но и не отрицает того, что я являлся американским агентом. Хорошо, что хоть не отрицает.

Но оно сразу отнимает у меня последнюю надежду, утверждая, будто Фрэнк Виртанен никогда не служил в Военном ведомстве. Никто не верит в его существование, кроме меня. Так что с этого момента я стану называть его Моей Волшебной Крестной.

Среди многих вещей, поведанных мне Волшебной Крестной, были пароль и ответ, по каким я должен был узнать, в случае начала войны, своих связных.

Пароль: «Новый друг — хорош!»

Ответ: «Но старого держись!»

Мой здешний адвокат — Элвин Добрович, опытный защитник. В отличие от меня он вырос в Америке и рассказал, что пароль и ответ взяты из песни, которую поют идеалистически настроенные американские девушки из «Брауниз»*. Он процитировал из нее куплет:

Новый друг — хорош!
Но старого держись!
С ним не пропадешь,
Он — на всю жизнь!

Глава 10

РОМАНТИКА...

Жена так и не узнала, что я был шпионом.

Я ничего не потерял бы, рассказав ей об этом. Она не стала бы любить меня меньше. Признание не несло никакой угрозы. Но могло превратить божественный мир моей Хельги, почти Книги Откровений, в прозаическое существование.

С нее хватило и войны.

Моя Хельга считала, будто я верю в те идиотские вещи, которые говорю по радио и в гостях. А в гости мы ходили постоянно. Мы всем нравились — такая веселая, патриотичная пара! Люди говорили, что мы приносим хорошее настроение — им хочется жить и действовать. Хельга была не про-

* Организация, подобная скаутской; основана в 1914 году.

сто разряженной красоткой. Она выступала перед войсками — часто под звуки вражеских орудий.

Вражеских орудий? Чьих-то орудий, скажем так.

Из-за этого я ее и потерял. Она развлекала воинские части в Крыму, но русские отбили его. Хельга считалась погибшей.

После войны я заплатил большие деньги частному детективному агентству в Западном Берлине, чтобы отыскать ее след. В результате — ничего. По договору, не имеющему срока давности, в случае безусловных доказательств, что она жива или погибла, я выплачиваю агентству дополнительно десять тысяч долларов.

Ну, и что?

Хельга верила моим словам о расах и механизмах истории, и я был ей благодарен. Неважно, кем я являлся и что в действительности думал, но нуждался в самозабвенной любви, и Хельга была тем ангелом, который дарил мне такую любовь.

В изобилии.

Нет на свете ни одного молодого человека, настолько совершенного, чтобы не нуждаться в слепой любви. Бог мой, юнцы участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, хотя слепая любовь — единственно подлинное сокровище, какое им нужно.

Das Reich der Zwei, государство двоих. Эта территория — моя и Хельги, которую мы ревниво оберегали, была немногим больше нашей огромной двуспальной кровати. Ровная, стеганая, пружинистая территория, на которой мы с Хельгой были горами.

Не зная в жизни ничего, что имело бы смысл, кроме любви, каким я был знатоком географии! Какую карту нарисовал бы я для крошечного туриста, микроскопического Wandervogel*, путешествующего на велосипеде между родинкой и золотыми завитками по обе стороны пупка Хельги. Если подобное зрелище безвкусно, помогите мне, Боже! Для психического здоровья игры необходимы. Я просто описал взрослый вариант игры «Этот маленький поросенок» — в нее мы любили играть.

О, как мы сжимали друг друга в объятиях — Хельга и я; обнимаясь, мы теряли голову!

Мы даже не разбирали слов. Только слышали мелодии наших голосов. И в них было не больше смысла, чем в мурлыкании и урчании больших кошек. Если бы мы слушали больше, вдумываясь в то, что говорим, то были бы тошнотворной парой. Однако, покинув суверенную территорию нашего «государства двоих», мы говорили в духе остальных психопатичных патриотов вокруг нас.

Но все это было неважным. Важно было только одно — государство двоих. А когда это оно перестало существовать, я стал тем, кем являюсь сейчас и кем буду всегда — человеком без гражданства.

Не могу сказать, что меня не предупреждали. Майор, завербовавший меня тем давним весенним днем в парке Тиргартен, точно предсказал мое будущее.

— Чтобы хорошо выполнять свою работу, — сказала Моя Волшебная Крестная, — вам придется со-

* Юный турист (нем.).

вершить государственную измену и верно служить врагу. Вам никогда этого не простят, потому что нет такой юридической лазейки, которая помогла бы вас оправдать. Самое большее, что мы сможем сделать, — это спасти вашу шею. Но никогда не будет такого волшебного момента, что обвинение прилюдно снимут, и вся Америка позовет вас выйти из тени: «Раз, два, три — нет игры».

Глава 11

НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ АРМЕЙСКИЕ ЗАПАСЫ...

Мои родители умерли. Некоторые говорят, их сердца были разбиты. Они умерли на седьмом десятке, когда сердца разбиваются особенно легко.

Родители не дожили до конца войны, так и не увидев своего излучающего оптимизм сыночка. Меня не лишили наследства, хотя, наверное, соблазн был велик. Скрепя сердце, они завещали Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, известному анти-семиту, предателю и радиозвезде, ценные бумаги, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание вступило в силу, составляла сорок восемь тысяч долларов.

Стоимость всего этого, пройдя как через бурный рост экономики, так и через инфляцию, выросла в четыре раза и приносит мне семь тысяч долларов в год рентного дохода.

Хотите верьте — хотите нет, но к основному капиталу я не притрагивался.

В послевоенные годы я, чужак и отшельник из Гринич-Виллидж, жил примерно на четыре доллара в день, включая квартирную плату, и у меня был даже телевизор. Все мое новое имущество состояло из армейских остатков, как и я сам, — узкая железная койка, серо-коричневые одеяла со штампом «США», складные парусиновые стулья, столовые наборы из котелков, в которых можно готовить и из которых можно есть. И даже моя библиотека была составлена из неиспользованного военного имущества, своего рода «развлекательные комплекты» для военных частей за океаном.

В эти «комплекты» входили и грампластинки, и поэтому я раздобыл себе — тоже из армейских запасов — портативный граммофон, о котором сообщалось, что он может работать в любом климате — от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая эти «развлекательные комплекты», а каждый из них был «котом в мешке», я стал обладателем двадцати шести пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби*. Пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье приобретены из того же источника.

Купив за один доллар аптечку первой медицинской помощи, я обрел некоторое количество морфия. Гиены, делающие бизнес на армейских запасах, настолько набили брюхо падалью, что это проглядели.

Я чуть не поддался искушению сделать себе укол морфия, решив, что, если это доставит мне радость, у меня хватит средств и впредь на подоб-

* Американский певец и актер.

ное удовольствие, но потом понял, что я и так под наркотиком.

Я не чувствовал боли.

Наркотик, на какой я подсел во время войны, — бесчувствие ко всему, кроме моей любви к Хельге. Направленность чувств на один объект, начавшаяся как счастливая иллюзия влюбленного молодого человека, со временем стала механизмом, помогавшим в военное время не превратиться в сумасшедшего, а потом — и постоянной осью, вокруг которой витали мои мысли.

Поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти, как идолопоклонник или как узколобый религиозный шизик. Оставшись один, поднимал за нее тосты, здоровался с ней по утрам, говорил «спокойной ночи», играл для нее и плевал на все остальное.

И вот в 1958 году, после тринадцати лет такой жизни я купил, опять же из оставшихся военных запасов, набор для резьбы по дереву. Теперь это были излишки с другой войны — корейской. Я приобрел его за три доллара.

Вернувшись домой, я без всякой надобности стал вырезать ручку для метлы. Неожиданно мне пришла в голову мысль — самому сделать шахматы. Я говорю о неожиданности решения, потому что меня поразило, с каким энтузиазмом я принялся за работу. Я был так увлечен, что трудился двенадцать часов подряд, несмотря на то, что несколько раз травмировал острыми инструментами ладонь левой руки. Меня это не останавливало. Когда я закончил работу, весь запачканный кровью, воодушевление

переполняло меня. Результатом моих трудов стал замечательный набор шахматных фигур.

Но у меня возникло одно странное желание. Я почувствовал необходимость показать кому-нибудь из еще живущих это удивительное творение своих рук.

Возбужденный и осмелевший от творчества и спиртного, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не имея представления, кто он.

Моим соседом оказался хитрый старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле его звали Иона Потапов, полковник. Старый сукин сын был русским агентом и с 1935 года постоянно работал в Америке.

Этого я не знал.

Кем был я, он поначалу тоже не догадывался.

Нас свела судьба. Никаким умыслом здесь и не пахло. Я просто нарушил его уединение, постучавшись в дверь. Если бы я не вырезал шахматные фигуры, мы никогда бы не познакомились.

У Крафта — так я буду его называть, потому что привык — дверь запиралась на три или четыре замка. Я заставил его открыть все, спросив, не играет ли он в шахматы. Только это и побудило старика открыть мне дверь.

Люди, помогавшие мне позднее в наведении справок, рассказывали, что имя Ионы Потапова гремело на европейских шахматных турнирах в начале тридцатых годов. В 1931-м в Роттердаме он разгромил гроссмейстера Тартаковера.

Когда Крафт открыл дверь, я понял, что оказался в гостях у художника. Посреди комнаты стоял

мольберт с чистым холстом, а вокруг на стенах висели потрясающие картины.

Говоря о Крафте, то есть о Потапове, я чувствую себя гораздо увереннее, чем когда упоминаю о Виртанене, настоящего имени которого никогда не узнаю. Оставленный Виртаненом след не больше следа крошечного червяка, ползущего по бильярдному столу. А Крафт повсеместно известен. Говорят, картины Крафта продаются в Нью-Йорке по десять тысяч долларов каждая.

У меня под рукой есть вырезка двухнедельной давности из «Нью-Йорк геральд трибюн» от 3 марта, где один критик рассуждает о Крафте как о живописце:

«Наконец мы видим способного и благодарного наследника той фантастической изобретательности и экспериментирования в живописи прошедшего столетия. Говорят, Аристотель был последним, кто понимал суть культуры своего времени. Крафт же, несомненно, — первый человек, который понимает современное искусство, чувствует его всеми фибрами души.

С неподражаемым изяществом и решительностью сочетает он эстетику враждующих художественных школ прошлого и настоящего. Крафт приводит нас в восторг, заставляет склонить голову и как бы говорит: “Если вы жаждете нового Возрождения, вот такими будут картины, выражающие его духовный подъем”.

Джордж Крафт, он же Иона Потапов, получил разрешение продолжать свою уникальную

карьеру художника в Федеральной тюрьме Ливенуорт. Мы все хорошо понимаем, в том числе и сам Крафт — Потапов, как быстро рухнули бы его планы, окажись он в своей российской тюрьме».

В тот самый момент, когда Крафт открыл дверь, я уже с порога понял, что его картины хороши. Но не думал, что настолько хороши. Подозреваю, что рецензию написал какой-нибудь гомик, накачавшийся бренди «Александр».

— Не ожидал, что подо мной живет художник, — произнес я.

— Может, вы преувеличиваете? И он не живет? — ответил Крафт.

— Великолепные картины! — восхитился я. — Где вы выставляетесь?

— Да нигде.

— Жаль. Вы бы сколотили целое состояние.

— Приятно слышать, — промолвил Крафт. — Но я начал рисовать слишком поздно. — Потом он рассказал мне то, что можно было бы назвать историей его жизни, не будь все ложью.

По словам Крафта, он вдовец из Индианаполиса. В молодости хотел стать художником, но занялся бизнесом — торговал красками и обоями.

— Моя жена умерла два года назад, — сказал он и, изловчившись, сумел выдавить скупую слезу. У него действительно была жена, но она не покойлась в земле Индианаполиса.

Его более чем живая жена Таня жила в Борисоглебске. Крафт не видел ее двадцать пять лет.

— Когда она умерла, — рассказывал он, — я совсем пал духом. У меня было только два пути: самоубийство или воплощение мечты юности. И я, старый дурак, выбрал мечту молодого дурака. Купив холст и краски, я приехал в Гринич-Виллидж.

— А детей у вас нет? — спросил я.

— Нет, — печально ответил он. На самом деле у него трое детей и девять внуков. А старший сын Илья — известный специалист в ракетостроении.

— Единственное, что роднит меня с миром, — это искусство, — продолжил Крафт, — а я беднейший из его родственников.

Крафт имел в виду не свое бедственное материальное положение, а то, что он плохой художник. По его словам, он богат. Бизнес в Индианаполисе удалось продать за хорошие деньги.

— Шаматы, — поменял ход разговора Крафт. — Вы что-то говорили о шахматах?

Я показал ему шахматные фигуры, принесенные мной в коробке из-под обуви.

— Я только что изготовил их, — объяснил я. — И меня охватило неодолимое желание попробовать их в игре.

— Наверное, хорошо играете? — поинтересовался он.

— Вряд ли. Давно не играл, — признался я.

В шахматы я сражался в основном со своим тестем Вернером Нотом, шефом берлинской полиции. Я обыгрывал тестя почти постоянно по воскресеньям, когда мы с Хельгой навещали его. Единственный шахматный турнир, в котором я участвовал, проходил в стенах Министерства на-

родного просвещения и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.

В пинг-понг я играл гораздо лучше. Четыре года подряд был чемпионом министерства в одиночной и парной играх. В паре я играл с Хайнцем Шильдкнехтом, экспертом по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Однажды Хайнц и я играли против пары — рейхслейтер Геббельс и оберденстлейтер Карл Хедрих. Мы обыграли их со счетом 21—2, 21—1, 21—0.

История часто идет рука об руку со спортом.

У Крафта была шахматная доска. Расставив на ней мои фигуры, мы начали играть. И плотный, колючий кокон цвета хаки, в котором я укрылся от мира, слегка треснул и, ослабев, впустил в себя бледный луч света. Я получал удовольствие от игры, интуитивно создавая интересные комбинации, так что моему новому другу было интересно играть и обыгрывать меня.

С тех пор мы с Крафтом играли не менее трех партий в день — и так в течение года. У нас создалось некое трогательное подобие семьи, в которой мы оба нуждались. Мы вновь почувствовали интерес к еде, делали маленькие открытия в местных лавочках и делились находками друг с другом. Помню, когда в магазинах появилась клубника, мы с Крафтом чуть не прыгали до потолка от экстаза, словно стали свидетелями второго пришествия Христа.

Очень трогательно обстояло дело с вином. О винах Крафт знал гораздо больше меня и часто приносил к столу настоящие сокровища, затянутые па-

утиной лет. Но хотя перед Крафтом всегда, когда мы садились за стол, стоял бокал с вином, все вино выпивал я. Крафт был алкоголик. От одного глотка вина он сразу же слетал с катушек и погружался в запой, который мог продолжаться месяц.

Из всего, что он рассказывал о себе, только это было правдой. Шестнадцать лет Крафт состоял в Обществе анонимных алкоголиков. И хотя он использовал собрания общества для встреч со связным, его интерес к проводимой там духовной работе был неподдельным. Однажды Крафт заметил, что изобретение Общества — величайший подарок Америки человечеству, о котором будут помнить тысячи лет.

Для шпиона-шизофреника, каким он являлся, характерно использовать в шпионских целях столь почитаемую им организацию.

Столь же характерно для такого шпиона-шизофреника испытывать ко мне истинно дружеские чувства и в то же время прикидывать, как можно использовать эту дружбу в интересах России.

Глава 12

СТРАННЫЕ ВЕЩИ В МОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ...

Первое время я лгал Крафту, скрывая, кто я на самом деле и чем занимался. Но наша дружба так быстро росла и крепла, что вскоре я открылся ему.

— Какая несправедливость! — воскликнул он. — Мне стыдно, что я американец. Почему правитель-

ство не вмешается и не скажет: «Послушайте, вы! Человек, которого вы унижаете, герой!» — Крафт был возмущен, и, насколько я его знал, возмущен искренне.

— Никто меня не унижает, — возразил я. — Никто даже не знает, жив ли я.

Крафту не терпелось прочитать мои пьесы. Узнав, что у меня нет ни одного экземпляра, он заставил меня пересказывать каждую пьесу сцену за сценой — играть их для него. Заявил, что пьесы великолепны. Возможно, его слова были искренними. Не знаю. Мне пьесы представлялись несколько хаотичными, но не исключено, что они ему действительно понравились.

Мне кажется, он просто влюблен в само искусство, а не в то, что вышло из-под моего пера.

— Искусство, искусство, искусство, — сказал Крафт мне однажды вечером. — Почему мне потребовалось столько времени, чтобы понять его значение? В молодости я относился к искусству с презрительным высокомерием. А теперь, когда о нем думаю, хочется упасть на колени и плакать.

Была поздняя осень. Вернулся сезон устриц, и мы поедали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом примерно год.

— Говард, будущие цивилизации — лучшие, чем наша, — станут оценивать людей по способности к искусствам. Нас с тобой, если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, будут судить по качеству наших произведений. Ничто другое не будет иметь значения.

— Неужели? — недоверчиво пробурчал я.

— Тебе надо снова сочинять. Маргаритки цветут, как положено маргариткам, розы — как положено розам, ты же должны раскрыться как писатель, а я — как художник. В остальном мы не интересны.

— Мертвецы хорошо не пишут, — отозвался я.

— Ты не мертвец! — возмущился Крафт. — Ты полон идей. Часами можешь говорить.

— Пустые слова.

— Нет, не пустые! Все, что тебе нужно для этого, — женщина. И ты будешь сочинять еще лучше.

— Что нужно? — переспросил я.

— Женщина, — ответил Крафт.

— Откуда у тебя такие мысли? — поинтересовался я. — Устрицами объелся? Может, ты начнешь, а я — потом?

— Нет, я слишком стар, мне это не принесет пользы, а вот тебе — поможет.

В который раз, пытаясь отделить истину от фальши, я прихожу к выводу, что Крафт действительно так думал. Он хотел, чтобы я снова стал писать, и верил, что для этого необходима женщина.

— Я даже готов пойти на унижение и попытаться снова быть мужчиной, если ты тоже найдешь женщину.

— У меня есть женщина, — промолвил я.

— У тебя была женщина, — поправил Крафт. — Это большая разница.

— Я не хочу об этом говорить.

— А я все равно буду!

— Что ж, говори, — усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. — Изображай свата, сколько хочешь.

А я пойду вниз, посмотрю, что хорошего принес сегодня почтальон.

Разговор раздражал меня, и я двинулся вниз не только для того, чтобы заглянуть в почтовый ящик. Просто хотел успокоиться. Я не жаждал увидеть почту — часто по несколько дней я не заглядывал в почтовый ящик. Что мне приносили? Чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, разная чепуха, адресованная «владельцу почтового ящика», рекламы книг и аппаратов, якобы полезных в области образования.

Как случилось, что я стал получать объявления о новинках в педагогике? Однажды я пробовал устроиться учителем немецкого языка в нью-йоркскую частную школу. Было это в 1950 году. Работу я не получил, да и не очень этого хотел. Думаю, я затеял это, желая доказать себе, что еще существую.

Заполненная мной анкета была, естественно, сплошной липой, в ней содержалось такое несуразное нагромождение лжи, что руководство школы даже не сочло нужным уведомить меня об отказе. Однако мое имя угодило в список возможных преподавателей. С тех пор мой почтовый ящик постоянно пополнялся рекламами из области образования.

Я открывал почтовый ящик по мере накопления — раз в три-четыре дня.

Сейчас там лежал чек от «Кока-Колы», извещение о собрании акционеров «Дженерал моторс», запрос от «Стандард ойл» из Нью-Джерси, чтобы я подтвердил администрации согласие с ведением моих дел, и рекламный проспект фунтов на восемь,

замаскированный под школьный учебник. В проспекте рекламировался спортивный инвентарь, который помог бы американским школьникам обрести хорошую физическую форму, поскольку сейчас она хуже, чем у детей почти всех стран.

Но даже такой проспект оказался не самой странной вещью в почтовом ящике. Тут было нечто и более удивительное. Во-первых, письмо в обычном конверте из гарнизона Френсиса Х. Donovan Американского Легиона, город Бруклин, штат Массачусетс. Во-вторых, плотно скрученная газетенка, отправленная с Центрального вокзала. Первой я вскрыл именно ее. Это был «Белый христианский активист» — скабрёзный, безграмотный листок, полный ненависти к евреям, неграм и католикам, издаваемый Его Преподобием доктором Лайонелем Дж. Д. Джонсом, Д. Х.* Крупный заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы США стали страной полукровок-дворянжек».

Второй крупный заголовок оповещал: «Красный Крест вливает белым негритянскую кровь!»

Подобными заголовками меня не удивишь. В конце концов именно такими заявлениями я зарабатывал на жизнь в Германии. Еще ближе к стилю высказываний прежнего Говарда У. Кэмпбелла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «Во Второй мировой войне выиграло мировое еврейство».

Затем я вскрыл письмо из гарнизона Американского Легиона и прочитал:

* Дантист-хирург.

«Говард!

Я очень удивлен и раздосадован, что ты до сих пор жив. Когда думаю о замечательных людях, погибших на фронтах Второй мировой, а потом вспоминаю, что ты жив и живешь в стране, которую предал, меня тошнит. Тебе, наверное, будет приятно узнать, что вчера вечером наш гарнизон решил потребовать, чтобы тебя повесили или выслали назад в Германию — в страну, которую ты так любишь.

Теперь, когда я знаю, где ты скрываешься, жди меня в гости. Приятно будет поболтать о прежних временах.

Когда ты, вонючая крыса, ляжешь сегодня спать, пусть тебе приснится концентрационный лагерь Ордруф. Следовало толкнуть тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность.

*Искренне, исключительно искренне твоей
Бернард Б. О'Хара,
глава гарнизона Американского Легиона.*

Копии отправлены:

Дж. Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия.

Директору ЦРУ, Вашингтон, округ Колумбия.

Редактору журнала "Тайм", Нью-Йорк.

Редактору журнала "Ньюсуик", Нью-Йорк.

Редактору журнала "Инфэнтри джорнал", Вашингтон, округ Колумбия.

Редактору журнала "Лиджн мэгэзин", Индианаполис, Индиана.

Главному следователю Комитета по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, округ Колумбия.

Редактору газеты "Белый христианский активист", Нью-Йорк, Бликер-стрит, 395».

Бернард О'Хара был, несомненно, тем молодым человеком, который арестовал меня в конце войны, провел по лагерю смерти Ордруф и стоит рядом со мной на памятной фотографии с обложки «Лайф».

Когда я извлек его письмо из своего почтового ящика, то был крайне озадачен, как он узнал, где я живу.

Просмотрев более внимательно «Белого христианского активиста», я понял, что О'Хара не единственный, кто отыскиал меня. На третьей странице газеты под простым заголовком «Американская трагедия» была небольшая заметка:

«Говард У. Кэмпбелл, великий писатель и один из самых бесстрашных патриотов в Американской истории, сейчас прозябает в бедности и одиночестве на чердаке дома № 27 по Бетьюн-стрит. Таков удел всех думающих людей, достаточно смелых, чтобы рассказать правду о тайном международном сговоре еврейских банкиров и еврейских коммунистов, которые не успокоятся, пока кровь каждого американца не будет загрязнена негритянской и (или) восточной кровью».

Глава 13

Его Преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д.Х., Д.Б.* ...

Я в большом долгу перед Архивным центром сбора информации о военных преступниках в Хайфе, предоставившим мне материалы, позволившие включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя «Белого христианского активиста».

Джонс не являлся военным преступником, но досье на него было весьма пухлым. Вот что я выяснил, листая эту сокровищницу находок:

Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д.Х., Д.Б. родился в 1889 году в Хейверхилле, штат Массачусетс, в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Сам тоже собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питсбургского университета в 1910 году за то, что в наши дни зовется паранойей. Но в 1910 году ему вменили в вину плохую успеваемость.

Синдром его неудач был весьма непрост. Экзаменационные работы были, кажется, самыми длинными за всю историю стоматологического образования и самыми непоследовательными. Начинались они вполне разумно с обозначения вопроса, на который Джонсу предстояло ответить. Но он

* Доктор богословия.

умудрялся уйти от него и приступить к изложению собственной теории. Она сводилась к тому, что зубы евреев и негров неопровержимо доказывают их ущербность.

На практических занятиях Джонс демонстрировал большие способности, и преподаватели надеялись, что он перерастет свои расовые предубеждения. Однако болезнь прогрессировала, и последующие экзаменационные работы выглядели безумными памфлетами, призывающими весь протестантский англосаксонский мир объединиться против еврейско-негритянской заразы. Когда Джонс стал находить по зубам признаки вырождения у католиков и униатов, а под матрасом у него обнаружили пять заряженных пистолетов и штык, его выкинули из университета.

Родители отреклись от сына, чего так и не смогла до конца сделать моя семья.

Оставшись без единого цента, Джонс устроился на работу помощником бальзамировщика в похоронное бюро братьев Шарф в Питсбурге. Через два года он стал там управляющим. А еще через год женился на вдове хозяина Хетти Шарф. Ей было пятьдесят восемь, а Джонсу — двадцать четыре. Многие исследователи жизни Джонса, настроенные к нему отрицательно, не могли не признать, что он по-настоящему любил Хетти. Этот брак, продолжавшийся до смерти Хетти в 1928 году, был счастливым.

Брак был таким счастливым, таким цельным, таким самодостаточным «государством двоих», что, пока он длился, Джонс словно забыл свою

главную цель — предупреждать англосаксов о надвигающейся опасности. Казалось, ему хватало отпускаемых в рабочей комнате шуточек о расовой принадлежности отдельных трупов, а подобные замечания проскальзывают даже у самых либеральных бальзамировщиков. То были золотые для него годы — не только в личном и финансовом плане, но и в творческом. Работая в паре с химиком доктором Ломаром Хорти, Джонс изобрел жидкость для бальзамирования виверин и гингива-тру, чудодейственное вещество для десен, от которого протезы выглядят как свои зубы.

После смерти жены он ощутил необходимость возродиться, что оказалось нетрудно: старые замашки дремали в нем. Джонс стал таким ярким проповедником расизма, о котором говорят, что он только что слез с дерева. Со своего дерева Джонс слез в 1928 году. Продал похоронное бюро за восемьдесят четыре тысячи долларов и основал газету «Белый христианский активист».

Экономический кризис 1929 года разорил Джонса. Его газета прекратила существование после четырнадцатого выпуска. Все экземпляры бесплатно разослали тем, кто значился в справочнике «Кто есть кто». Единственными иллюстрациями в ней были фотографии и диаграммы зубов, а каждая статья объясняла текущие события согласно теории Джонса о строении и расположении зубов в зависимости о расы.

В предпоследнем номере газеты Джонс заявил о себе как о докторе Лайонеле Дж. Д. Джонсе, дантисте-хирурге.

Оставшись снова на бобах, теперь уже сорока-летний Джонс откликнулся на объявление в журнале «Ритуальные услуги». Школе по бальзамированию в Литл-Рок, штат Арканзас, требовался директор. Объявление дала вдова бывшего директора и владельца школы. Джонс получил эту работу и вдову в придачу. Вдовушку звали Мэри Элис Шуп. Когда Джонс на ней женился, ей было шестьдесят восемь лет.

И Джонс снова стал любящим мужем, счастливым, благополучным и спокойным человеком. Возглавляемая им школа называлась весьма просто — школа бальзамирования. Ежегодно она приносила восемь тысяч долларов убытка. Джонс вывел школу из убыточной образовательной сферы, в данном случае — бальзамирования, продал недвижимость и создал на ее основе Библейский университет Западного полушария. Очного обучения, как и классов, в университете не было, занятия велись по переписке. В результате все сводилось к заочному присуждению степени доктора богословия. Диплом новоиспеченным «докторам» высылался в застекленной рамке за восемьдесят долларов.

Джонс и сам разжился степенью доктора богословия, так сказать, из общего котла. После смерти второй жены он, возобновив выпуск «Белого христианского активиста», уже величал себя Его Преподобие доктор Лайонел Дж.Д. Джонс, Д.Х., Д.Б.

Он написал и опубликовал за свой счет книгу, которая на сей раз сочетала в себе не только стоматологию и теологию, но и изящные искусства. Книга называлась «Христос не был евреем». Свою

точку зрения Джонс основывал на пятидесяти известных художественных изображениях Христа. Ни на одном из них, утверждал он, у Иисуса нет еврейской челюсти и зубов.

Первые выпуски нового «Белого христианского активиста» читать было невозможно, как, собственно, и старые. Но вскоре произошло чудо. «Активист» стал выходить не на четырех, а на восьми страницах. Оформление, шрифт и бумага были не просто красивыми, а сногшибательными. Вместо зубных диаграмм появились сенсационные фотографии, а страницы пестрели от заголовков и имен авторов из разных стран мира.

Объяснение простое — и очевидное. Джонса прибрали к рукам и финансировали как агента пропаганды люди из набирающего силу гитлеровского Третьего рейха. Новости, фотографии, карикатуры и статьи приходили еще тепленькими с фабрики нацистской пропаганды во Франкфурте. Не исключено, что многие из самых непристойных материалов вышли из моих рук.

Даже после вступления Америки в войну Джонс не прекратил вести немецкую пропаганду. Его арестовали только в июле 1942 года, обвинив по двадцати семи пунктам, в том числе и «в заговоре с целью разрушения морали, веры и доверия членов военно-морских сил Соединенных Штатов и народа Соединенных Штатов в государственные службы и республиканскую форму правления; в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати как способа распространения

преступных взглядов в надежде и вере, что нация, дающая своим гражданам свободу слова, бессильна защитить себя от врагов, надевших маски патриотов; в попытках помешать, затруднить, ослабить и разрушить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики; в заговоре с целью отнять у правительства Соединенных Штатов веру и доверие служащих сухопутных и морских сил и самого народа, и тем самым сделав его неспособным защитить страну и народ от вооруженного нападения извне и предательства изнутри».

Джонса осудили, приговорили к четырнадцати годам тюрьмы, отсидел он восемь. Когда в 1950 году он вышел на свободу в Атланте, он был богатым человеком. Виверин — жидкость для бальзамирования — и гингива-тру — средство, маскирующее зубные протезы, — завоевали соответствующий рынок.

В 1955 году Джонс возобновил издание «Белого христианского активиста».

И вот через пять лет энергичный пожилой политик семидесяти одного года, полный жизни и лишенный каких-либо угрызений совести, Его Преподобие доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д.Х., Д.Б. постучал в мою дверь.

Почему я удостоил Джонса такой чести, написав столь полную его биографию? Чтобы показать разницу между собой и этим безумным, невежественным расистом.

В Германии я выполнял приказы таких же невежественных безумцев, как доктор Джонс. Мне это ясно.

Но, помоги мне, Бог, я все равно исполнял их инструкции!

Глава 14

ВЗГЛЯД СВЕРХУ НА ЛЕСТНИЦУ, ВЕДУЩЮЮ ВНИЗ...

Джонс нанес мне визит через неделю после того, как я обнаружил расстроившее меня содержимое почтового ящика. Я пробовал навестить его первым. Офис похабной газетенки находился в нескольких кварталах от меня, и я пошел туда просить написать опровержение на их статью обо мне. Но доктора не застал.

Вернувшись домой, я вытащил из почтового ящика толстую пачку новых писем — почти все от подписчиков «Белого христианского активиста». Они писали, что я не одинок — у меня много друзей. Женщина из Маунт-Вернона, штат Нью-Йорк, обещала мне трон на небесах. Мужчина из Норфолка называл меня новым Патриком Генри*. Женщина из Сент-Пола прислала два доллара для продолжения моей важной работы. Она извинялась, что прислала мало, мол, больше у нее нет. Мужчина из Бартлесвилла, штат Оклахома, спрашивал, почему я не уеду из Жидо-Йорка и не поселюсь среди истинных американцев?

* Американский государственный деятель, борец за независимость Америки.

Я не понимал, как Джонсу удалось найти меня.

Крафт уверял, что тоже заинтригован. Но все было не совсем так. Это он от имени сочувствующего патриота написал анонимное письмо Джонсу с радостным сообщением, что я жив. Он также посоветовал Джонсу послать экземпляр его замечательной газеты в подарок Бернарду Б. О'Хара из гарнизона Френсиса Донована Американского Легиона.

У Крафта были свои виды на меня.

И в то же самое время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мою сущность, с такой неподдельной симпатией, что трудно было заподозрить его в простом желании обвести вокруг пальца лоха.

Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. До этого он пролил скипидар, и я открыл дверь на лестницу, чтобы проветрить квартиру. С лестницы до нас донеслось какое-то странное пение. Я вышел на площадку и взгляделся во вьющийся змеей дубовый, отделанный лепниной лестничный пролет. Сверху я увидел только ползущие по перилам руки четверых людей.

К нам поднимался сам Джонс с тремя друзьями.

Движение рук сопровождалось песнопением. Руки продвигались фута на четыре по перилам, замирали, и тут начиналось это пение.

«Пение» оказалось счетом до двадцати, произнесенным с одышкой. У телохранителя Джонса и его секретаря были сердечные заболевания. Чтобы их бедные сердца не разорвались, группа останавлива-

лась через каждые несколько ступеней, считала до двадцати и шла дальше.

Телохранителем Джонса был Август Крапптауер, бывший вице-бундесфюрер Германо-американского Бунда*. Шестидесятитрехлетний Крапптауер отсидел одиннадцать лет в Атланте, где едва не сыграл в ящик. Однако выглядел вызывающе молодо, будто регулярно посещал косметолога морга. Самым большим его достижением являлась организация совместного митинга Бунда и Ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 1940 году. На митинге Крапптауер во всеуслышание объявил, что папа римский еврей и евреи владеют закладной в пятнадцать миллионов долларов на недвижимость Ватикана. Смена понтификов и одиннадцать лет в тюремной прачечной никак не сказались на его взглядах.

Секретарем Джонса был лишенный сана павликианский** священник Патрик Кили. Отцу Кили, как продолжал называть его Джонс, было семьдесят три года. Этот пьяница перед Второй мировой войной служил капелланом Детройтского оружейного клуба, который, как выяснилось позднее, основали агенты нацистской Германии. Заветной мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одну из проповедей отца Кили на встрече членов клуба записал один репортер и опубликовал в утренней газете. В этом обращении к Богу было столько злобы и нетерпимости, что оно удивило и поразило папу Пия XI.

* Профашистская организация в США в 30-х гг. 20 века.

** Павликиане — секта, возникшая в Армении в VII веке и распространившаяся по всей Европе.

Кили лишили духовного сана, а понтифик отправил длинное послание в Американскую Иерархию, где среди прочего были такие слова: «Ни один истинный католик не будет участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям — удар по всему человечеству».

Кили в тюрьме не сидел, хотя почти все его сподвижники мотали сроки. В то время как его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Кили мерз и голодал, паршивел и напивался до чертиков, скитаясь по стране. Он скитался бы и дальше или покоился в могиле для нищих, но его нашли и спасли Джонс и Крапптауер.

Знаменитая проповедь Кили, кстати, была парафразой моей сатирической поэмы, которую передали на коротких волнах. И раз уж я заговорил о своем вкладе в литературу, следует заметить, что слова вице-бундесфюрера Крапптауера о папе и закладных на Ватикан тоже принадлежат мне.

Итак, по лестнице ко мне поднимались люди, напевая: «раз, два, три, четыре...» И хотя они чуть ли не ползли, четвертый член компании умудрился далеко отстать.

Это была женщина. Я видел только ее бледную руку без колец.

Вела всех рука Джонса. Она сверкала кольцами, словно длань византийского принца. Если бы составили опись украшавших ее драгоценностей, там наличествовали бы два обручальных кольца; сапфировая звезда, дарованная в 1940 году матушками-помощницами из Ассоциации воинствующей

щих неевреев имени Пола Ревира*; алмазная свастика на ониксовой основе, подаренная бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, бывшим тогда генеральным германским консулом в Сан-Франциско; Американский орел**, вырезанный из нефрита, в серебряной оправе, — образец японского мастерства, преподнесенный Робертом Стерлингом Уилсоном, чернокожим фюрером Гарлема, которого в 1942 году посадили в тюрьму как японского шпиона.

Унизанная драгоценностями рука Джонса покинула перила. Джонс быстро сбежал по лестнице к женщине и сказал ей что-то. Слов я не разобрал. Затем этот семидесятилетний человек, почти без одышки, так же быстро вернулся.

Он приблизился ко мне вплотную и улыбнулся, обнажив белоснежные от использования гингиватру зубы.

— Кэмпбелл? — спросил он, дыша почти ровно.

— Да, — ответил я.

— Я — доктор Джонс. У меня для вас сюрприз.

— Если вы про газету, то я ее уже видел.

— Дело не в газете. Сюрприз более значительный.

Подоспели отец Кили и вице-бундесфюрер Крапптауер, они тяжело дышали и прерывистым шепотом считали до двадцати.

— Более значительный? — переспросил я, готовясь спустить его с лестницы, да так безжалостно, чтобы ему никогда больше не пришло в голову, что мы с ним единоверцы.

* Участник Войны за независимость.

** Национальная эмблема США.

— Эта женщина, которую я привел... — начал Джонс.

— Что еще за женщина?

— ...ваша жена. Я связался с ней, и она попросила меня ничего вам не сообщать. Настояла, чтобы все произошло именно так — ей хотелось появиться перед вами без предупреждения.

— Я хотела сама увидеть, есть ли еще для меня место в твоей жизни, — произнесла Хельга. — И если его нет, я просто попрощаюсь и исчезну, никогда больше не потревожив тебя.

Глава 15

МАШИНА ВРЕМЕНИ...

Если бледная, без колец рука на перилах была рукой моей Хельги, то это была рука сорокапятилетней женщины. Если это рука Хельги, то это рука женщины среднего возраста, которая шестнадцать лет находилась в плену у русских.

Вряд ли моя Хельга осталась такой же красивой и радостной.

Если Хельга пережила наступление русских в Крыму, спаслась от всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, лязгающих, прыгающих, дребезжащих военных игрушек, которые убивают сразу и наповал, все равно она не могла избежать медленно, как проказа, убивающей судьбы. Мне не нужно было гадать, какая ее ожидала судьба. Она была одинаковой у всех женщин, попавших в плен на русском фронте, — часть обычной рутины, ка-

кая есть у всякой вполне современной, вполне технически продвинутой, вполне бесполой нации на вполне современной войне.

Если моя Хельга избежала гибели во время сражения, то победители наверняка загнали ее прикладами в рабочую бригаду. В одно из бесчисленных скопищ косоглазых, бесформенных, лишенных надежды, грязных оборванцев, заставили мою с трудом передвигающуюся Хельгу выкапывать забытые корнеплоды на замерзших полях, разбирать кирпичные завалы, превратили ее в безымянное, бесполое существо, волочащее громыхающую тачку.

— Моя жена? — произнес я. — Я не верю тебе.

— То, что я не лгу, легко доказать! — весело воскликнул Джонс. — Смотрите сами!

Стук моих каблуков по ступенькам был твердым и решительным. Наконец я увидел женщину. Она улыбалась мне, приподняв подбородок, чтобы я мог лучше рассмотреть ее. Волосы были белее снега. Но в остальном это была моя Хельга, не тронутая временем.

Такая же цветущая и изящная, как Хельга в нашу первую брачную ночь.

Глава 16

ХОРОШО СОХРАНИВШАЯСЯ ЖЕНЩИНА...

Мы плакали, как дети, и, поддерживая друг друга, поднимались по лестнице на мой чердак.

Проходя мимо отца Кили и вице-бундесфюрера Крапптауера, я заметил, что Кили плачет. Краппта-

уер стоял по стойке «смирно», проявляя уважение к англосаксонской семье. Джонс улыбался нам сверху, довольный совершенным им чудом. Он радостно потирал свои украшенные драгоценностями пальцы.

— Моя... моя жена, — объяснил я старому другу Крафту, когда мы входили в мою мансарду.

Пытаясь сдержать слезы, Крафт разгрыз надвое мундштук погасшей трубки из кукурузного початка. Он не заплакал, но слезы уже подступили к его глазам.

Джонс, Крапптауер и Кили шли за нами.

— Как случилось, что именно вы вернули мне жену? — обратился я к Джонсу.

— Невероятное стечение обстоятельств, — ответил он. — Сначала я узнал, что живы вы. А через месяц стало известно, что ваша жена тоже жива. Рука Провидения — ведь иначе это не назовешь?

— Не знаю, что и сказать, — признался я.

— Небольшая часть тиража моей газеты расходуется в Германии. Один из подписчиков прочитал о вас и послал мне телеграмму. Он спрашивал, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин.

— Почему он не телеграфировал мне? — спросил я и повернулся к Хельге. — Дорогая, — обратился я к жене по-немецки, — почему ты не послала мне телеграмму?

— Мы долго были в разлуке. Я считалась мертвой, — ответила она по-английски. — Я не сомневалась, что у тебя уже другая жизнь, в которой мне нет места.

— Моя жизнь принадлежит тебе, — возразил я. — Больше никому в ней нет места.

— Так много надо рассказать, — поговорить, — лепетала Хельга, прижимаясь ко мне.

Я смотрел на нее с удивлением. Ее кожа была свежая и нежная. В свои сорок пять она прекрасно сохранилась.

Рассказ жены о последних пятнадцати годах лишь усугубил мое удивление при виде такого чуда.

В Крыму Хельгу взяли в плен и изнасиловали. На Украину ее доставили в товарном вагоне и отправили на работу в лагерь для военнопленных.

— Мы были заляпанными грязью, измученными доходягами, — рассказывала она. — О конце войны нам даже не удосужились сообщить. Наша трагедия не кончалась. Нас не было ни в каких списках. Мы месили грязь, бесцельно бродя по разрушенным деревням. Нас подзывали, как собак, если требовалось выполнить какую-нибудь грязную и бессмысленную работу, и мы не отказывались.

Сопровождая свой рассказ жестами, Хельга отстранилась от меня. Я подошел к окну, слушал и смотрел сквозь пыльные стекла на ветви голого дерева — без листьев и птиц.

На трех пыльных стеклах были небрежно начертаны свастика, серп и молот и звезды с полосками. Я нарисовал эти три символа несколько недель назад, под конец нашего спора с Крафтом о патриотизме. Прокричал восторженное приветствие от имени каждого из них, показывая значение патриотизма для нациста, коммуниста и американца.

— Ура, ура, ура! — кричал я.

А Хельга пряла и пряла рассказ, наматывая свою пряжу на безумный ткацкий станок истории. По ее словам, после пяти лет каторжных работ она бежала из лагеря, но уже на следующий день ее поймали какие-то полоумные азиаты с автоматами и полицейскими собаками.

В тюрьме она провела три года, а затем ее послали в Сибирь переводчицей и по совместительству регистратором в огромный лагерь для военнопленных. Война давно закончилась, но в плену еще находились восемь тысяч эсэсовцев.

— Я пробыла там восемь лет, — рассказывала Хельга. — Меня спасло только то, что я была словно под гипнозом каждодневной рутины. Там существовала прекрасная картотека, в нее занесли сведения обо всех этих бессмысленных жизнях за колючей проволокой. Когда-то молодые, поджарые и яростные эсэсовцы поселились, стали слабыми и жалкими — все эти мужья без жен, отцы без детей, лавочники без лавок, ремесленники без ремесла.

Говоря о сломленных эсэсовцах, Хельга повторила известную загадку сфинкса: «Кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?» И сама ответила хрипло: «Человек!»

А потом ее весьма своеобразно репатриировали, отправив не в Берлин, а в Восточную Германию — в Дрезден. Там заставили работать на сигаретной фабрике, о которой Хельга вспоминала с ужасом.

Однажды, не выдержав, она сбежала в Восточный Берлин, а оттуда перебралась в Западный. Вскоре вылетела ко мне.

— А кто оплатил тебе дорогу? — спросил я.

— Ваши почитатели, — произнес с теплотой в голосе Джонс. — Они не ждут благодарности, считая, что очень многим обязаны вам.

— Чем именно? — спросил я.

— Во время войны у вас хватило мужества говорить правду, — произнес Джонс. — В то время, как другие лгали.

Глава 17

АВГУСТ КРАППТАУЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ВАЛГАЛЛУ...

Вице-бундесфюрер Крапптауер по собственной инициативе спустился вниз, чтобы забрать багаж Хельги из лимузина Джонса. Мое воссоединение с женой подействовало на него живительным образом — он вновь почувствовал себя молодым и галантным.

Никто не знал, что Крапптауер задумал, пока он не появился в дверях с чемоданом в каждой руке. Джонс и Кили замерли от страха, зная, как неровно и слабо бьется его старое сердце.

Вице-бундесфюрер был красный, как помидор.

— Что ты творишь, идиот? — обрушился на него Джонс.

— Ничего, ничего. Все в порядке, — ответил тот с улыбкой.

— Почему не попросил об этом Роберта?

Шофер Роберт ждал в лимузине внизу. Чернокожему водителю было семьдесят три года. Роберт Стерлинг Уилсон был старым рецидивистом,

японским агентом и чернокожим фюрером Гарлема.

— Нужно было велеть Роберту принести вещи, — произнес Джонс. — Черт побери, тебе нельзя так рисковать жизнью!

— Для меня честь рисковать жизнью, когда дело касается жены Говарда Кэмпбелла, верно служившего Адольфу Гитлеру, — сказал Крапптауер и рухнул замертво.

Мы пытались привести его в чувство, но он лежал бездыханный, с отвалившейся челюстью — ну просто дурак дураком.

Я побежал вниз, на второй этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн с матерью. Доктор находился дома. Чего только не вытворял доктор Эпштейн со стариком Крапптауером, пока тот окончательно не убедил нас, что действительно мертв.

Поскольку Эпштейн был евреем, я подумал, что Джонс или Кили станут возражать против столь жестокого обращения с их мертвым другом, но два старых фашиста по-детски уважительно взирали, как доктор лупит и пинает Крапптауера.

После того как Эпштейн объявил Крапптауера мертвым, Джонс произнес одну-единственную фразу: «Между прочим, я дантист, доктор».

— Вот как? — сказал Эпштейн.

Эта информация его не заинтересовала. Он вернулся к себе и вызвал «Скорую помощь».

Джонс накрыл Крапптауера одеялом из моих военных запасов.

— А у него только все пошло на лад, — заметил он.

— Вы о чем? — не понял я.

— Крапптауер начал сколачивать небольшой отряд, — объяснил Джонс. — Ничего особенного, но люди все верные, надежные, преданные.

— Как он называется?

— Железная гвардия белых сынов американской конституции. У него был талант спланировать обычных юнцов в дисциплинированную, полную решимости организацию. — Джонс печально покачал головой. — Молодые люди тянулись к нему.

— Он любил молодежь, и молодежь любила его, — добавил отец Кили.

— Такую эпитафию надо выбить на надгробной плите, — поддержал Джонс. — Крапптауер работал с юношами в моем подвале. Вы бы видели, как замечательно он все устроил там для них — обычных подростков из разных слоев общества.

— Без него они болтались бы на улице и могли попасть в беду, — сказал отец Кили.

— Он был одним из самых ревностных ваших почитателей. — Джонс повернулся ко мне.

— Неужели?

— Когда вы работали на радио, Крапптауер не пропускал ни одной вашей передачи. И даже попав в тюрьму, сразу смастерил коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он был под впечатлением от вашей очередной передачи.

— Гм, — пробормотал я.

— Вы были маяком, мистер Кэмпбелл! Представляете, какой свет вы посылали нам в те темные годы?

— Нет, не представляю.

— Крапптауер надеялся, что вы станете идейным вождем Железной гвардии.

— А я — капелланом, — добавил Кили.

— Ну кто, кто возглавит теперь Железную гвардию? — возвел руки Джонс. — Кто выступит вперед и поднимет упавший факел?

Раздался громкий стук. Я открыл дверь. За ней стоял шофер Джонса — морщинистый старый негр, в его желтых глазах горел злобный огонек. На нем была черная униформа с белым кантом, офицерская портупея, никелированный свисток, пилотка гитлеровского летчика без эмблемы и черные кожаные краги. В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел, прихрамывая, как больной артритом, однако большие пальцы его рук были засунуты под ремень, подбородок гордо вздернут, пилотку с головы он не снял.

— С вами все в порядке? — обратился он к Джонсу. — Что-то вы здесь задержались.

— Не совсем в порядке, — ответил тот. — Август Крапптауер скончался.

Чернокожий фюрер Гарлема отнесся к новости спокойно.

— Все умирают, — философски произнес он. — Но кто подхватит факел, когда умрут все?

— Я только что задался тем же вопросом, — сказал Джонс.

Он представил меня Роберту. Тот не протянул мне руки.

— Мне говорили о вас, — сказал он. — Но сам я ваши передачи никогда не слушал.

— Что ж, нельзя всем нравиться, — заметил я.

— Мы были по разные стороны баррикад, — уточнил Роберт.

— Ясно, — кивнул я. Мне не было ничего известно о Роберте, и я с равнодушием отнесся к тому, на чьей он находился стороне.

— Я был на стороне цветных, — продолжил Роберт. — Поддерживал японцев.

— А-а... — протянул я.

— Мы нуждались в вас, а вы — в нас, — сказал он, имея в виду союз Германии и Японии во Второй мировой войне. — Но многие ваши идеи не разделяли.

— Я вас понимаю.

— Я слышал, вы не очень хорошего мнения о цветных.

— Ну, хватит, хватит! — примирительно промолвил Джонс. — Если мы будем скандалить по любому поводу, ничего хорошего из этого не выйдет. Нам надо держаться вместе.

— Я только хочу сказать ему то, что говорю вам, — оправдывался Роберт. — А я каждое утро говорю Вашему Преподобию, подавая горячую овсянку на завтрак, одно и то же: «Цветные восстанут в праведном гневе и завоюют весь мир. Белые в конечном счете проиграют».

— Успокойся, Роберт, — терпеливо произнес Джонс.

— У цветных будет своя атомная бомба! Над ее созданием уже работают. Скоро придет черед Японии сбросить бомбу. Другие цветные народы удостоят их чести сбросить первую бомбу.

- На кого они ее сбросят? — спросил я.
 - Скорее всего на Китай.
 - На другой цветной народ? — удивился я.
- Роберт с сочувствием посмотрел на меня:
- Кто вам сказал, что китайцы цветные?

Глава 18

КРАСИВАЯ СИНЯЯ ВАЗА ВЕРНЕРА НОТА...

Наконец мы с Хельгой остались одни.

Нас охватила робость. Я был уже немолод, много лет провел без женщины и испытывал смущение. Не опозорюсь ли я как любовник? Страх мой усиливала удивительная молоджавость Хельги, чудесным образом сохранившаяся.

— Это... это называется узнавать друг друга заново, — сказал я. Мы говорили по-немецки.

— Да, — согласилась Хельга. Она стояла у окна, рассматривая нарисованные мною на пыльном стекле патриотические эмблемы.

— Какая из них теперь тебе ближе, Говард? — спросила она.

— Прости, не понял?

— Серп и молот, свастика или звезды и полосы — что тебе больше нравится?

— Спроси меня лучше о музыке. Тут у меня есть свое мнение. А в политике — нет.

— Ясно, — отозвалась она. — Какая музыка теперь тебе нравится?

— «Белое Рождество» Бинга Кросби.

— Как ты сказал?

— Моя любимая песня, — пояснил я. — Она мне очень нравится. У меня двадцать шесть пластинок с ее исполнением.

Хельга недоуменно посмотрела на меня:

— Правда?

— Это... моя личная забава, — ответил я запинаясь.

— Вот как?

— Личная... — продолжил я. — Я так долго жил один, что у меня теперь все личное. Удивлюсь, если кто-нибудь поймет, что я говорю.

— Я пойму, — с нежностью произнесла Хельга. — Дай мне немного времени, совсем немного, и я снова буду понимать все, что ты говоришь. — Она пожала плечами. — У меня тоже есть личные забавы...

— Теперь у нас опять будет общий личный уголок для двоих.

— Это было бы чудесно.

— Снова государство двоих.

— Да. Скажи мне...

— Все, что хочешь, — заверил я.

— Я знаю, как умер отец, но ничего не смогла выяснить о маме и Рези. Слышал ли ты хоть что-нибудь?

— Ничего.

— Когда ты последний раз видел их?

Подумав, я смог назвать точную дату моей последней встречи с отцом Хельги, ее матерью и хорошенькой маленькой выдумщицей Рези Нот, младшей сестрой.

— 12 февраля 1945 года, — ответил я и рассказал жене об этом дне.

День был такой холодный, что я продрог до костей. Украд мотоцикл, я поехал проводить родных жены — семью Вернера Нота, шефа берлинской полиции.

Вернер Нот жил в пригороде Берлина, далеко от зоны бомбежки, с женой и дочерью, в обнесенном стеной белом доме, монолитном и величественном, как гробница римского патриция. За пять лет войны в доме даже трещинки ни в одном стекле не появилось. Высокие, глубоко посаженные окна с южной стороны выходили в сад, а с северной — смотрели на покореженные памятники, проступавшие на фоне берлинских руин.

Я был в военной форме. К ремню прикреплен маленький пистолет и большой, причудливый, церемониальный кинжал. Обычно я не носил военную форму, хотя и мог носить, — синюю с позолотой форму майора Добровольческого Американского корпуса.

Добровольческий Американский корпус был мечтой нацистов — боевая часть, составленная в основном из американских военнопленных. Предполагалось создать ее на добровольных началах. Воевать корпусу предназначалось только на Восточном фронте. Это должна была быть высокоморальная боевая машина, движимая любовью к западной цивилизации и ужасом перед монгольскими завоевателями.

Называя этот корпус мечтой нацистов, я испытываю шизофренический приступ: ведь идея его

создания принадлежит мне. Я даже придумал для него униформу, знаки отличия, присягу.

Присяга начиналась словами: «Я, как и мои славные американские предки, верю в истинную свободу...»

Нельзя сказать, что Добровольческий Американский корпус имел ошеломительный успех. В него вступили только трое американских пленных. Бог знает, что с ними стало. Думаю, когда я навещал родных Хельги, их уже не было в живых, и я единственный, кто выжил из этого корпуса.

Когда я был у Нотов, русские находились в двадцати милях от города. Я решил, что война практически закончена и моей шпионской карьере пришел конец. Чтобы беспрепятственно выбраться из Берлина, я специально вырядился в эту нарядную форму. К багажнику украденного мотоцикла привязал сверток с гражданской одеждой.

Мой визит к Нотам был лишен задней мысли. Я действительно хотел попрощаться с ними, хотел, чтобы и они попрощались со мной. Мне они нравились — я жалел их и по-своему любил.

Железные ворота большого белого дома были открыты. Вернер Нот стоял в воротах, упершись руками в бока. Он следил за работой польских и русских рабынь. Женщины перетаскивали чемоданы и мебель из дома в три фургона с запряженными лошадьми. Небольшие золотисто-рыжие лошадки монгольской породы являлись первыми трофеями с Восточного фронта.

Надсмотрщиком был толстый голландец средних лет в поношенном деловом костюме. Охранял

женщин высокий старик с одностволкой времен франко-прусской войны. На впалой груди древнего стража покачивался «Железный крест».

Из дома шаркающей походкой вышла женщина, держа в руках исключительно красивую синюю вазу. Женщина была в деревянных башмаках на холщевых завязках. Она выглядела как безымянная, бесполоя нищенка без возраста. Взгляд у нее был потухший. На отмороженном носу проступали багровые и белые пятна. Казалось, она настолько погружена в себя, что может легко уронить вазу — та выскользнет из ее рук.

Мой тесть, видя, что ваза вот-вот упадет, истощно завопил, призывая Бога пожалеть его хоть раз, проявить разум и послать ему более энергичное и смышленное существо в подмогу.

Он выхватил вазу у впавшей в оцепенение женщины. Чуть ли не со слезами на глазах тесть призывал нас полюбоваться синей вазой, которая могла кануть в небытие из-за глупости и лени.

Пообносившийся голландец, выступая в роли помощника хозяина, приблизился к женщине и прокричал слово в слово то, что сказал тесть. Старый солдат тоже подошел вместе с ним, как бы демонстрируя силу, которая может быть в случае необходимости применена к нескладной бабе.

То, как с ней поступили, было удивительно. Ее не наказали. Просто лишили чести носить вещи Нота. Она стояла в стороне, пока остальные работницы, которым доверяли, переносили сокровища. Наказание состояло в том, чтобы заставить жен-

щину чувствовать себя неумехой. Она проморгала свой шанс приобщиться к цивилизации.

— Я приехал попрощаться, — сказал я Ноту.

— До свидания, — отозвался он.

— Еду на фронт, — объявил я.

— Прямоком туда. — Он указал на восток. — Путь недалек. Можешь управиться за день, собирая лютики по дороге.

— Вряд ли мы снова увидимся.

— Ну и что?

Я пожал плечами:

— Да, в общем, ничего.

— Вот именно. Ничего, ничего и еще раз ничего.

— Могу я спросить, куда вы едете? — поинтересовался я.

— Я остаюсь, — ответил он. — А жена и дочь направляются к моему брату в Кельн.

— Могу я чем-нибудь помочь?

— Да, — кивнул тесть. — Пристрели собаку Рези. Она не выдержит дороги. Мне собака не нужна, да я и не смогу обеспечить ее вниманием и заботой, к которым ее приучила Рези. Пожалуйста, пристрели.

— Где собака? — спросил я.

— Думаю, ты найдешь ее в музыкальном салоне с Рези. Дочь знает об этой необходимости. Трудности не возникнут.

— Хорошо.

— Отличная форма, — похвалил тесть.

— Спасибо.

— Ты не обидишься, если я спрошу, что она означает?

Я никогда не надевал форму в его присутствии. Объяснив ее значение, я показал эмблему на кинжале. Серебряная эмблема на ореховой рукоятке изображала американского орла, сжимавшего в когтях правой лапы свастику и пожиравшего змею, зажатую в когтях левой. Змея символизировала международный еврейский коммунизм. Голову орла окружали тринадцать звезд — тринадцать первых американских колоний. Первоначальную зарисовку эмблемы делал я сам, а поскольку художник из меня никакой, вместо пятиконечных американских звезд я изобразил шестиконечные звезды Давида. Художник по серебру, значительно улучшив моего орла, оставил шестиконечные звезды в неприкосновенности.

Внимание тестя привлекли именно звезды.

— Это, видимо, тринадцать евреев в кабинете Франклина Рузвельта, — произнес он.

— Забавная мысль, — оценил я.

— А все считают, что немцы лишены чувства юмора.

— Германия — самая недооцененная страна в мире, — заметил я.

— Вы один из немногих иностранцев, которые нас понимают, — сказал тесть.

— Надеюсь, это заслуженный комплимент.

— И вам пришлось потрудиться, чтобы его заслужить, — задумчиво промолвил он. — Женившись на моей дочери, вы разбили мне сердце. Я хотел, чтобы моим зятем стал германский воин.

— Мне очень жаль.

— Вы сделали ее счастливой.

— Надеюсь.

— Ненависть заставила меня изучать вас. Я слушал все ваши передачи — ни одной не пропустил.

— Мне это было неизвестно, — удивился я.

— Все знать нельзя. Известно ли вам, что до настоящего времени ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем доказать, что вы шпион, и увидеть, как вас шлепнут?

— Нет.

— А теперь мне плевать, шпион вы или нет. Даже если вы все это время работали на врага, ничего бы не изменилось, и мы продолжили бы нашу спокойную беседу. Я позволил бы вам скрыться и бежать туда, куда бегут шпионы, когда война окончена. Знаете, почему?

— Нет.

— Вы не смогли бы ни на кого работать так хорошо, как на нас. Я понял, что почти все идеи, какие у меня сейчас есть, те, что не дают мне стыдиться своих чувств и поступков нациста, пришли ко мне не от Гитлера, Геббельса или Гиммлера, а от вас. — Тесть пожал мне руку. — Вы один заставляли меня верить, что Германия не сошла с ума.

Он резко отвернулся от меня и направился к женщине с оцепенелым взглядом, которая чуть не уронила синюю вазу. Она привалилась к стене — там, где ее оставили, тупо отбывая наказание.

Вернер Нот слегка встряхнул женщину, стараясь хоть как-то пробудить в ней рассудок. Указал на другую женщину, которая несла вырезанную из

дуба уродливую китайскую собаку. Она несла ее бережно, словно ребенка.

— Видишь? — сказал Нот неумехе. У него не было желания мучить ее, он просто старался пробудить в ней разумное и полезное начало.

— Видишь? — повторил он серьезно, с надеждой и почти с мольбой. — Вот как надо обращаться с ценными вещами.

Глава 19

МАЛЫШКА РЕЗИ НОТ...

Я вошел в музыкальный салон пустеющего дома Вернера Нота и увидел маленькую Рези и ее собачку.

Рези было тогда десять лет. Она свернулась калачиком в кресле у окна. Из него не были видны развалины Берлина, лишь окруженный стеной сад и припорошенные снегом верхушки деревьев. В доме не работало отопление. Рези была в пальто, шарфе и толстых шерстяных чулках. Рядом с креслом стоял чемоданчик. Как только все загрузят, она не заставит себя ждать.

Рези сняла с себя варежки и аккуратно положила на ручку кресла. Ей хотелось ласкать лежавшую на коленях собаку. Это была такса, облысевшая на военном пайке и раздувшаяся от водянки.

Выглядела собака, как, наверное, древние земноводные, ковыляющие по болотам. При каждом прикосновении Рези карие глаза таксы таяли от удовольствия. Каждая клеточка ее сознания следо-

вала как наперсток за пальчиками, ласкающими ее шкурку.

Я плохо знал Рези. В начале войны она словно окатила меня ушатом воды, пролепетав детским голоском, что я американский шпион. После этого я старался как можно реже попадаться на глаза этому ребенку. Когда я вошел в салон, меня поразило, как сильно она похожа на мою Хельгу.

— Рези! — позвал я.

Девочка не посмотрела в мою сторону.

— Я знаю, — сказала она. — Настало время убить собаку.

— Мне совсем не хочется этого делать.

— Ты сам ее пристрелишь или попросишь кого-нибудь сделать это за тебя?

— Твой отец хотел, чтобы я сам убил ее.

Рези посмотрела на меня:

— Так ты теперь солдат?

— Да, — ответил я.

— Ты надел форму только для того, чтобы убить собаку?

— Я отправляюсь на фронт. Пришел попрощаться.

— На какой фронт?

— На Восточный.

— Тебя убьют.

— Так говорят. Но этого может и не случиться.

— Кто еще не умер, очень скоро умрет, — убежденно произнесла девочка. Похоже, ей было безразлично.

— Не все.

— Я умру.

— Надеюсь, что нет, — возразил я. — Не сомневаюсь, что у тебя все будет хорошо.

— Когда убивают — не больно. Просто — раз, и меня нет, — промолвила она и столкнула с коленей собаку. Та шмякнулась безвольно, как жирная сосиска.

— Можешь унести, — сказала Рези. — Я ее никогда не любила. Просто сейчас жалею.

Я поднял собаку.

— Ей лучше умереть.

— Думаю, ты права, — согласился я.

— Мне тоже лучше умереть.

— А вот с этим я не согласен.

— Хочешь, я тебе кое-что расскажу?

— Давай.

— Раз уж все мы умрем, я могу признаться, что люблю тебя.

— Очень мило с твоей стороны сообщить об этом.

— Но я люблю тебя по-настоящему. Когда Хельга была жива и вы приходили к нам вместе, я завидовала сестре. А после ее смерти начала мечтать, что, когда вырасту, выйду за тебя замуж, стану известной актрисой, и ты будешь писать для меня пьесы.

— Я польщен.

— Теперь это не имеет значения. Ничего больше не имеет значения. Иди и убей собаку.

Я поклонился и взял собаку. Вынес ее в сад, поставил на снег и вынул свой маленький пистолет. Три человека следили за мной. Одним была Рези, стоявшая у окна музыкального салона. Другим —

старый солдат, видимо, охранявший польских и русских женщин. Третьим — моя теща Ева Нот. Она находилась у окна второго этажа. Подобно таксе, теща тоже отекала на военном пайке. Несчастливая женщина, раздувшаяся в это жестокое время, как разварившаяся сарделька, стояла по стойке «смирно», считая, похоже, что убийство собаки приравнивается к важной церемонии.

Я выстрелил собаке в загривок. Хлопок от выстрела был слабый, еле слышный, как у пневматики. Собака умерла, даже не дернувшись. Старый солдат подошел, проявив профессиональный интерес к ране, какую мог нанести такой маленький пистолет. Он перевернул сапогом собаку, подобрал в снегу пулю и одобрительно хмыкнул, словно я совершил нечто интересное и поучительное. Потом завел разговор о разного рода ранах, какие видел или о которых слышал, и всяческих брешах в прежде живых существах.

— Вы ее зароете?

— Думаю, надо, — ответил я.

— А то ее съедят.

Глава 20

ВЕШАТЕЛЬНИЦЫ БЕРЛИНСКОГО ВЕШАТЕЛЯ...

Только недавно, в 1958-м или 1959 году я узнал, как умер мой тесть. В детективном агентстве, через которое я пытался отыскать следы Хельги, мне сообщили, что Вернер Нот скончался.

Об обстоятельствах его смерти я узнал случайно в парикмахерской Гринич-Виллидж. Ожидая своей очереди, я листал иллюстрированный журнал и, разглядывая фото, восхищался женским образом. На обложке журнала рекламировалась статья под названием «Вешательницы берлинского вешателя». Не было никаких причин подозревать, что статья о моем тесте. Виселицы — не его профиль. Я открыл страницу со статьей.

Какое-то время я смотрел на темную фотографию с повешенным на яблоне мужчиной, не догадываясь, что это Вернер Нот. Вгляделся в лица людей, присутствующих при повешении. Преимущественно то были женщины — неясные, бесформенные нищенки.

Я придумал игру — стал считать, сколько раз читателя обманула обложка. Во-первых, женщины никого не вешали.

Это делали трое тощих мужчин в ветхом рубище. Во-вторых, женщины на фотографии были некрасивы, а у женщин на обложке груди были, как спелые дыни, бедра крутые, как лошадиные хомуты, а лохмотья выглядели, как искусно порванные ночные рубашки от Шиапарелли. На фотографии женщины напоминали тушки трески, закутанные в намотрасники.

Но перед тем как приняться за статью о повешении, я стал неуверенно и робко узнавать разрушенный дом на заднем плане. За повешенным, похожим на разверстый рот с раскрошившимися зубами, виднелось то, что осталось от дома Вернера Рота, дома, где выросла и стала образцовой немец-

кой женщиной моя Хельга, дома, где я попрощался с десятилетней нигилисткой Рези.

Я прочитал статью. Ее написал некий Иен Уэстлейк, и сделал он это мастерски. Уэстлейк, англичанин, бывший военнопленный, видел эту казнь через повешение вскоре после того, как его освободили русские. Фотографировал тоже он.

Нота, писал Уэстлейк, повесили на собственной яблоне работавшие у него пленные женщины, в основном польки и русские, которые жили рядом. Он не называл моего тестя «берлинским вешателем».

Уэстлейк затруднялся назвать преступления Нота и пришел к выводу, что тот был ничем не лучше и не хуже шефа полиции любого большого города.

«Террор и пытки входили в компетенцию других отделов германской полиции, — писал он. — Обязанности Вернера Нота заключались в поддержании порядка в большом городе и соблюдении гражданами закона. Он руководил людьми, которые боролись с пьяницами, ворами, убийцами, насильниками, мародерами, мошенниками, проститутками и прочими нарушителями общественного спокойствия, а также делали, что могли, чтобы нормально ходил городской транспорт.

Главная вина Нота заключалась в том, что он передавал людей, подозреваемых в различных правонарушениях, дальше — в системы суда и исправительных учреждений, которые тогда были безумными. Используя самые современные полицейские методы, Нот делал все, чтобы отделить виновных от невиновных, но те, кому он их передавал, не ви-

дели между теми и другими принципиальной разницы. Любой, попавший в их лапы, считался виновным — неважно, судили его или нет. В конечном счете тут всех унижали, мучили и убивали».

Далее Уэстлейк писал, что пленные рабыни, повесившие Нота, не имели представления, чем он занимается, знали только, что он какая-то шишка. Они получили удовлетворение от самого сознания, что повесили важную персону.

Дом Нота попал под обстрел русской артиллерии, но Нот продолжал жить в уцелевшей части разбомбленного дома. Уэстлейк видел его комнату, там находились кровать, стол и подсвечник. На столе — фотографии в рамках Хельги, Рези и жены.

И еще книга. Немецкий перевод книги Марка Аврелия «Наедине с собой. Размышления».

Непонятно, как незначительному журналу удалось приобрести такую замечательную статью. Наверное, у редакции не было сомнений, что читателям журнала будет интересно описание процесса повешения.

Мой тесть стоял на скамеечке высотой четыре дюйма. На шею накинули веревку и крепко привязали к суку цветущей яблони. Потом скамеечку выбили у него из-под ног. Задышавшись, он мог плясать на земле.

Как вам такое?

Его восемь раз приводили в чувство и снова вешали. Только после восьмого раза Нот потерял достоинство и остатки мужества и стал вести себя как ребенок, которого мучают.

«За это представление его наградили тем, чего он жаждал больше всего. Ему наконец даровали смерть. Нот болтался на веревке с эрекцией, и ноги его были босые».

Я перевернул страницу — нет ли продолжения? Продолжение было, но отнюдь не статьи. Всю страницу занимало фото красотки с широко разведенными бедрами и высунутым языком.

Парикмахер окликнул меня и стряхнул волосы предыдущего клиента с пеньюара, который собирался накинуть мне на плечи.

— Следующий! — позвал он.

Глава 21

Мой лучший друг...

Я уже говорил, что украл мотоцикл, когда в последний раз навещал Вернера Нота. Должен это объяснить. Нет, я его не украл, просто одолжил, как оказалось, навсегда, у Хайнца Шильдкнехта, своего партнера по парному пинг-понгу и ближайшего друга в Германии.

Мы вместе выпивали, говорили ночами, особенно после того, как оба потеряли жен.

— У меня такое чувство, — однажды сказал он поздним вечером в конце войны, — что я могу рассказать тебе абсолютно все.

— Как и я, Хайнц.

— Все мое — твое, — продолжил он.

— И все мое — твое тоже, — произнес я.

Правда, собственности тогда у нас практически не было. Ни у одного не осталось дома. Наше жилье и вещи разнесло в клочья и развеяло по ветру. У меня были часы, пишущая машинка, велосипед — вот, пожалуй, и все. А Хайнц давно обменял на черном рынке свои часы, пишущую машинку и даже обручальное кольцо на сигареты. Теперь все, что у него еще осталось в этой юдоли слез, помимо моей дружбы и одежды на теле, был мотоцикл.

— Случись что с мотоциклом, и я буду гол как сокол, — заметил он и оглянулся, не подслушивают ли нас. — Сейчас я скажу тебе ужасную вещь.

— Не надо, если не хочешь.

— Хочу. Ты именно тот человек, кому я могу рассказывать ужасные вещи. Но эта будет просто чудовищная.

Обычно мы пили и болтали в блиндаже рядом со спальным корпусом. Блиндаж соорудили недавно для защиты Берлина, его построили угнанные рабы. Но пока он пустовал — ни орудий, ни солдат. Русские находились тогда еще не так близко.

Мы сидели там за бутылкой, горела свеча, и Хайнц рассказал мне свою ужасную вещь. Он был пьян.

— Видишь ли, Говард, — начал он, — я люблю свой мотоцикл больше, чем любил жену.

— Я твой друг, Хайнц, и мне хочется во всем тебе верить, но в это я верить отказываюсь. Давай забудем все, что ты сказал, потому что это неправда.

— Нет, теперь как раз редкий момент, когда говоришь все, как есть. Люди редко говорят правду,

но сейчас я не лукавлю. Если ты мне друг, каким я тебя считаю, сделай одолжение и поверь мне, потому что я скажу чистую правду.

— Ладно, — кивнул я.

Слезы струились по его лицу.

— Я продал ее драгоценности, любимую мебель, однажды даже талон на мясо — и все для того, чтобы купить себе сигареты, — признался Хайнц.

— Мы совершаем поступки, которых потом стыдимся.

— Я не бросил курить ради нее.

— У всех есть дурные привычки.

— Когда бомба разорвалась в нашей квартире и убила жену, у меня остался один мотоцикл, — продолжил Хайнц. — Торговец с черного рынка предлагал мне за него четыре тысячи сигарет.

— Знаю, — промолвил я. Хайнц рассказывал эту историю всякий раз, когда напивался.

— И я сразу бросил курить — так дорог мне мотоцикл.

— Все мы ищем прибежище, — отозвался я.

— Но не там, где надо, и делаем это слишком поздно. Я скажу тебе еще одну вещь, в нее я действительно верю.

— Валяй, говори.

— Люди сошли с ума. Они делают, что хотят и когда хотят, но Бог помогает тому, кто доискивается до истины.

Какой женщиной была жена Хайнца? Я ее плохо знал, хотя видел достаточно часто. Она болтала без умолку, что мешало ее понять, — и все на одну тему. Героями в глазах жены Хайнца были успеш-

ные люди, которые ловили шанс и не выпускали из рук удачу, люди богатые и знаменитые в отличие от ее мужа.

— Молодому Курту Эренсу — всего двадцать шесть лет, — говорила она, — а он уже полковник СС! А его брату Хейнриху — ну уж никак не более тридцати четырех, а под его началом восемнадцать тысяч иностранных рабочих — они строят противотанковые ловушки. Никто не знает больше Хейнриха об этих ловушках, а ведь я танцевала с ним.

Она говорила и говорила — и все в таком духе, а бедняга Хайнц стоял в стороне и курил, чтобы как-то забыться. Я тоже испытал влияние его жены в том плане, что стал полностью равнодушен к рассказам о карьерных взлетах. Ведь все победители в дивном новом мире* добились успеха как специалисты по рабству, разрушению и смерти. А людей, отличившихся в этом, я не считаю счастливыми.

Война завершилась, и мы с Хайнцем не могли больше пьянствовать в блиндаже. Там установили орудие, к которому приставили мальчишек лет пятнадцати-шестнадцати. Еще одна история об успехе, которую могла бы рассказывать покойная жена Хайнца: такие юные молодые люди и уже носят военную форму, и для них полностью готова и напичкана оружием ловушка смерти.

Теперь мы с Хайнцем выпивали в так называемом спальном корпусе, бывшем манеже, набитом оставшимся без крова рабочим людом. Спали ра-

* Скрытая цитата: «О дивный новый мир» — название известного романа-антиутопии О. Хаксли.

бочие на соломенных матрасах. Спиртное мы прятали, не желая ни с кем делиться.

— Хайнц, — однажды вечером сказал я, — интересно, ты действительно мой настоящий друг?

Это его задело.

— Почему ты спрашиваешь?

— Хочу попросить тебя об одном одолжении — очень большом, — даже не знаю, нужно ли.

— Я требую — проси.

— Хочу навестить завтра родственников жены, — сказал я. — Дашь мне свой мотоцикл?

Хайнц ни секунды не колебался, ничто не свидетельствовало о его сомнениях:

— Конечно, бери!

Так я и сделал на следующий день.

Мы выехали утром вместе — бок о бок: Хайнц — на моем велосипеде, я — на его мотоцикле. Я нажал на стартер, привел мотоцикл в движение и рванул вперед, оставив позади в голубых клубах выхлопного газа лучшего друга, провожавшего меня улыбкой.

Как я помчался — трах-рр-рры-тр...

А Хайнц так никогда больше и не увидел ни мотоцикла, ни своего лучшего друга.

Я посылая запрос в Институт документальной информации о военных преступниках, пытаюсь выяснить, не знают ли там что-нибудь о Хайнце, хотя какой он военный преступник? И получил обрадовавший меня ответ, что сейчас Хайнц живет в Ирландии и работает главным управляющим в поместье барона Ульриха Вертера фон Швевельбада, купившего после войны землю в Ирландии.

Мне также сообщили, что Хайнц — свидетель в деле о смерти Гитлера. Он случайно оказался в бункере Гитлера, когда облитое бензином тело фюрера горело, но было еще узнаваемо.

Привет тебе отсюда, Хайнц, если ты вдруг это прочитаешь! Я действительно очень любил тебя — насколько я вообще способен любить.

Привет от меня «Бларни-стоун»*.

Что ты делал в бункере Гитлера? Может, искал свой мотоцикл и лучшего друга?

Глава 22

СОДЕРЖИМОЕ СТАРОГО ЧЕМОДАНА...

— Послушай, — обратился я к Хельге в Гринич-Виллидж после того, как рассказал то небольшое, что знал об ее отце, матери и сестре, — этот чердак не подходит для любовного гнездышка даже на одну ночь. Давай возьмем такси и поедem в гостиницу. А завтра выбросим отсюда всю эту рухлядь и купим новую мебель. А потом подыщем что-нибудь более подходящее для жилья.

— Мне и здесь хорошо, — сказала она.

— Завтра купим кровать, похожую на нашу прежнюю: мили две в длину и три в ширину и с изголовьем, как закат солнца в Италии. Помнишь? Боже мой, ты помнишь?

— Помню, — кивнула Хельга.

* Ирландский пивной бар.

— Эту ночь проведем в гостинице, — настаивал я, — а завтрашнюю — на нашей новой кровати.

— Мы едем прямо сейчас? — спросила она.

— Как хочешь.

— Можно я сначала покажу тебе подарки?

— Подарки?

— Подарки для тебя.

— Ты мой самый лучший подарок. Больше мне ничего не нужно.

— Может, все-таки это нужно? — произнесла Хельга, расстегивая ремни на чемодане. — Надеюсь, пригодится.

Она открыла чемодан, полный рукописей. Подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти все, идущее от сердца, что написал я, прежний Говард У. Кэмпбелл-младший. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга — все то, что написал я, когда был бодрым, свободным и молодым человеком.

— Я испытываю какие-то странные чувства, — признался я.

— Не надо было привозить их?

— Даже не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мной. — Я взял в руки рукопись книги — странный эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы». — Это следовало сжечь, — сказал я.

— Скорее я сожгла бы себе правую руку, — отзывалась Хельга.

Отложив книгу в сторону, я взял связку стихов.

— Что этот юный незнакомец может знать о жизни? — задал я риторический вопрос и прочитал вслух одно стихотворение, написанное на немецком языке:

«Kuhl und hell der Sonnenaugang,
Leis und suss der Glocke Klang.
Ein Magdlein hold, Krug in der Hand,
Sitzt an des tiefen Brunnens Rand».

В переводе оно звучит примерно так:

«Ярко всходит солнце,
Колокола звук дивный.
Стоит у колодца
Девушка с кувшином».

Я прочитал вслух это стихотворение, потом другое. Хорошим поэтом я никогда не был. И цитирую стихи не для того, чтобы вызвать восхищение. Второе стихотворение, как мне кажется, было предпоследним из всех мною написанных. Датированное 1937 годом, оно называлось: «Gedanken über unseren Abstand vom Zietgeschehen», или в вольном переводе: «Размышления о неучастии в происходящем». Вот оно:

«Eine machtige Dampfwalze naht
vnd Schwartz der Sonne Pfad,
rollt über geduckte Menschen dahin,
will keener ihr entfliehn.
Mein Lieb und ich schaum starren Blickes
das Ratsel dieses Blutgeschickes.
‘Kommt mit herab’, die Menschheit schreit,

‘Die Walze ist die Geschichte der Zeit!’
Mein Lieb und ich gehn auf die Flucht,
wo keine Dampfwalze uns sucht,
und leben auf den Bergeshohen,
getrennt vom schwarzen Zeitgeschenen.
Sollen wir bleiben mit den andern zu sterben?
Doch nein, wir zwei wollen nicht verderben!
Nun ist’s vorbeti! — Wir sehn mit Erbleichen
die Opfer der Walze, verfaulte Leichen».

А в переводе?

«На нас надвигался каток паровой,
Закрывая солнца свет.
И люди бросались наземь все,
Они не бежали, нет!
Нас с любимой потрясло
Кровавое это зрелище.
— Ложись, ложись! — кричали все.
— От истории нет убежища.
Но мы с любимой бежали прочь,
Машина нас не нашла.
В горах укрылись мы вдвоем,
А «история» мимо прошла.
Мы не хотим умереть, как все,
Остаться — и ждать конца:
Ведь за каждым движением катка
Тянется тень мертвеца».

— Как тебе удалось все это получить? — спросил я.

— Оказавшись в Западном Берлине, — рассказывала Хельга, — я стала узнавать, существует ли еще

театр, остались ли те, кого я знала, и есть ли какие-нибудь известия о тебе.

Ей не надо было объяснять, какой театр имелся в виду. Конечно, она говорила о том маленьком театре, где ставились в Берлине мои пьесы, в которых часто блистала Хельга.

— Я знаю, он существовал почти до конца войны, — произнес я. — А сейчас работает?

— Да. Но о тебе никто ничего не слышал. Правда, когда я рассказала, как много ты сделал для этого театра, кто-то вспомнил, что видел на чердаке чемодан, на котором написана твоя фамилия.

Я провел рукой по рукописям:

— И в чемодане оказались они.

Теперь я вспомнил этот чемодан, как закрыл его в начале войны, подумав о нем как о гробе, в котором похоронен молодой человек, каким я никогда больше не буду.

— У тебя есть вторые экземпляры? — спросила Хельга.

— Нет. Ни листочка.

— Ты больше не сочиняешь?

— Нет ничего такого, о чем бы мне хотелось поведать миру, — ответил я.

— И это после всего, через что тебе пришлось пройти, дорогой?

— Именно после того, что я видел и пережил, у меня пропало всякое желание сочинять. Это стало просто невозможно. Я потерял способность объясняться разумно. Говорю нечто бессвязное, и цивилизованный мир отвечает мне тем же.

— Здесь было еще одно твое стихотворение, очевидно, последнее, — сказала она. — Оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана.

— Правда?

Хельга прочитала его наизусть:

«Hier liegt Howard Campbells Geist geborgen
frei von des Körpers qualenden Sorgen.
Sein leerer Leib durchstreift die Welt,
und kargen Lohn dafür erhalt.
Triffst du die beiden getrennt allerwärts
verbrenn den Lieb, doch scheme dies, sein Herz».

А в переводе?

«Избавившись от плотских пут,
Покоится здесь Говарда суть.
А плоть его по свету рыщет,
Ища подходящей пищи.
Если тело и дух — враги,
Сожги тело, а дух сбереги».

В дверь постучали. Это был Джордж Крафт, и я пригласил его войти. Он был очень возбужден, потому что исчезла его кукурузная трубка. Первый раз я видел его без трубки, и только теперь понял, как он зависит от нее. Крафт чуть ли не подвывал от волнения.

— Кто-то ее взял или куда-то засунул — не могу представить, кому она мешала, — ныл он.

Крафт ждал, что мы с Хельгой проникнемся его волнением, похоже, он считал пропажу трубки главным событием дня. В общем, был безутешен.

— Кому понадобилось ее брать? — восклицал Крафт. — Кому она вообще нужна? — Он шарил по карманам, моргал, сопел и вел себя как наркоман во время ломки, хотя никогда ничего не курил. — Ну, скажите, почему ее взяли?

— Не знаю, Джордж, — не без раздражения отозвался я. — Если найдем, сразу тебе сообщим.

— Можно я тут сам поищу? — попросил он.

— Валяй.

Крафт перевернул все вверх дном, гремел кастрюлями и сковородками, хлопал дверцами буфета, рылся кочергой, лязгая и брэнча, за батареями. Нас с Хельгой этот безумный спектакль только подстегнул, без него наше сближение продвигалось бы намного медленнее. Мы стояли рядом, возмущенные этим вторжением в наше «государство двоих».

— Кажется, эта трубка не очень дорогая? — спросил я.

— Для меня — дорогая.

— Купи новую, — предложил я.

— Но мне нужна эта. Я к ней привык. Хочу именно ее. — Крафт открыл хлебницу и заглянул внутрь.

— Может, трубку взяли санитары? — предположил я.

— Зачем она им?

— Они могли подумать, будто трубка принадлежит покойнику. Взяли и положили в его карман.

— Точно! — заорал Крафт и выбежал из квартиры.

Глава 23

ГЛАВА ШЕСТЬСОТ СОРОК ТРЕТЬЯ...

Как я уже говорил, в принесенном Хельгой чемодане среди прочего лежала написанная мной книга. Я никогда не собирался публиковать рукопись, считая, что выпустить такую книгу согласится разве что издательство, специализирующееся на порнографической литературе.

Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как занимался любовью с сотнями женщин, которыми была моя жена — моя Хельга. Кто-то увидел бы в книге проявление клинического заболевания, наваждения, безумия. Это был мой дневник первых двух лет войны, рассказывающий день за днем о нашей эротической жизни — и ни о чем другом. Читая ее, нельзя было понять, в каком столетии живем мы с женой и в какой части света.

Там были только мужчина и женщина с множеством лиц. Вначале штрихами еще обозначалась обстановка, потом и это исчезло.

Хельга знала о существовании этого необычного дневника. Он был одним из многих способов сохранить остроту нашего сексуального влечения. Книга не только описывала наш эксперимент, но и сама являлась частью этого эксперимента — сознательного эксперимента мужчины и женщины, которые приняли решение сохранить обоюдную сексуальную притягательность навсегда.

И более того.

Являться душой и телом друг для друга, смыслом существования, даже если не появится никаких иных источников для радости.

Эпиграф для книги тоже был в самый раз. Это стихотворение Уильяма Блейка «Вопрос и ответ»:

«Что мужчине нужно в женщине?
Истомиться в наслаждении.
Что от мужчины нужно женщине?
Истомиться в наслаждении».

Здесь будет уместно привести последнюю, 643 главу в «Мемуарах», где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как не видел ее много лет.

Оставляю на вкус и усмотрение редактора замену невинными многоточиями мест, которые могут кого-то шокировать.

«МЕМУАРЫ МОНОГАМНОГО КАЗАНОВЫ»,
ГЛАВА 643

Мы не виделись шестнадцать лет. В эту ночь мое желание пробудилось с кончиков пальцев. Другие части моего тела... получили удовлетворение позднее, и более привычным образом, они были удовлетворены полностью... с клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела не осталась обойденной, и ни одна клеточка тела моей жены не могла пожаловаться на недостаток внимания, поспешность... или на несовершенство усилий. Но кончики моих пальцев сделали эту ночь волшебной...

Это не означает, что я оказался... стариком, беспомощным, способным доставить женщине удовольствие только... предварительными ласками и больше ничем. Вовсе нет, я был... таким же пылким, как семнадцатилетний любовник... со своей... девушкой.

И так же открыт чуду.

И это чудо творили мои пальцы. Беззастенчивые, изобретательные, умные, эти... исследователи, эти... стратеги, эти... разведчики, эти... вольные стрелки, изучающие свою... территорию.

И все, что они открывали, было чудесно.

Моя жена была этой ночью... юной наложницей в постели... повелителя — потрясенная, не знающая ни слова из моего языка. И все же, как красноречивы были ее глаза, ее дыхание... они не могли ничего скрыть...

А ее тело... все, что оно испытывало, было таким простым и пронзительно знакомым... Словно ветер раскрывал свою тайну, или роза рассказывала о себе.

После моих нежных, умных и благодарных пальцев любовная игра стала жарче, в нее вступили те инструменты наслаждения, которые отбрасывают все воспоминания, сдержанность, условности. Их моя рабыня приняла с жадностью... пока Мать Природа, потворствующая нашим самым экстравагантным поискам, не потребовала большего. Мать Природа сама... возвестила конец игры...

Мы разомкнули объятия...

Впервые после того, как упали на кровать, мы связно заговорили друг с другом.

- Здравствуй, — сказала она.
- Здравствуй, — отозвался я.
- Добро пожаловать домой!

Конец 643-й главы.

На следующее утро городское небо было чистым, высоким и ярким, похожим на волшебный купол, хрупкий и звенящий, как огромный стеклянный колокол.

Мы с Хельгой проворно покинули отель. Я превосходил себя в учтивости, а моя Хельга не уступала мне во внимании и благодарности. Мы провели необыкновенную ночь.

На мне была одежда не из военных запасов. Я надел то, в чем бежал из Берлина, сорвав с себя форму Свободного Американского корпуса. На мне был плащ, отороченный мехом, как у импресарио, и синий шерстяной костюм, в котором меня задержали. Причуды ради я захватил с собой трость. С ней я проделывал всякие штуки: забавно наставлял ее, как ружье, вращал, как Чарли Чаплин, и как бы играл в поло, используя вместо мяча объедки из водосточных канавок.

И все это время ладонь Хельги лежала на моей свободной левой руке и медленно, эротически поглаживала чувствительную зону между локтем и тугим бицепсом.

Мы шли покупать кровать, подобную той, что была у нас в Берлине.

Но магазины не работали, хотя день был не воскресный и, насколько я помнил, не праздничный.

Когда мы вышли на Пятую авеню, то увидели повсюду развевающиеся американские флаги.

— Боже мой! — с удивлением воскликнул я.

— Что все это значит? — спросила Хельга.

— Может, ночью объявили войну?

Она судорожно сжала пальцами мою руку.

— Ты ведь так не думаешь, правда? — Видимо, Хельга считала это возможным.

— Я пошутил. Наверное, какой-нибудь праздник.

— Какой?

Я по-прежнему находился в растерянности.

— Как твоему проводнику в нашей чудесной стране, — произнес я, — мне нужно было бы объяснить тебе значение этого великого национального праздника, но мне ничего не приходит в голову.

— Совсем ничего?

— Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи.

Перед жилым домом негр в униформе подметал тротуар. Его синяя с золотом одежда напоминала форму Добровольческого Американского корпуса, даже на брюках — похожие бледно-лавандовые полосы. На нагрудном кармане было вышито название «Лесной дом», хотя вблизи росло только одно дерево — молодой саженец, обмотанный тканью и окруженный колючей проволокой.

Я спросил у мужчины, какой сегодня праздник.

— День ветеранов, — ответил он.

— А какое сегодня число?

— Одиннадцатое ноября, сэр.

— Но одиннадцатое ноября — День перемирия, а не День ветеранов, — возразил я.

— Где вы были? Все давно уже изменилось.

— День ветеранов, — сообщил я Хельге, когда мы отошли. — Всегда был День перемирия, а теперь вот День ветеранов.

— Тебе это важно? — спросила она.

— Терпеть не могу такой дешевки, а это здесь обычное дело, — объяснил я. — Раньше это был день памяти жертв Первой мировой войны, но живым не терпелось отнять его у мертвецов, присвоить себе их славу. Так типично, так типично! Как только что-нибудь достойное появляется в этой стране, оно яростно рвется в клочья на потеху толпе.

— Ты так сильно ненавидишь Америку? — спросила Хельга.

— Ненавидеть ее так же глупо, как и любить. Я не испытываю к ней каких-то чувств, потому что не интересуюсь недвижимостью. Во мне, несомненно, есть ущербность, но я не могу мыслить, не выходя за определенные границы. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы или феи. Я не верю, что они означают конец или начало чего-то, что имеет значение для человеческой души. Пороки и добродетели, радости и печали свободно пересекают любые границы.

— Ты очень изменился, — заметила Хельга.

— Мировые войны меняют людей, иначе зачем они?

— Может, ты и меня больше не любишь? Ведь и я изменилась.

— И ты можешь так думать после прошлой ночи?

— Но мы ни о чем не говорили.

— О чем тут говорить? — удивился я. — Что бы ты ни сказала, я не буду любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока, слова не важны для нее. Это любовь душ.

Хельга вздохнула:

— Как прекрасно — если это правда. — Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга. — Любовь душ.

— Любовь, которая может пережить все, — произнес я.

— Сейчас твоя душа любит мою?

— Конечно.

— А ты не обманываешь себя? Не заблуждаешься?

— Это невозможно, — ответил я.

— И никакие мои слова ничего не изменят?

— Нет.

— Хорошо, — промолвила Хельга. — Я скажу тебе то, что побоялась сказать раньше. Теперь уже не боюсь.

— Говори, — беспечно произнес я.

— Я не Хельга. Я ее младшая сестра Рези.

Глава 24

ПОЛИГАМНЫЙ КАЗАНОВА...

После такой сногшибательной новости я повел ее в ближайшее кафе, чтобы посидеть и прийти в себя. Там был высокий потолок, в глаза бил безжалостный свет, и стоял страшный шум.

— Почему ты так со мной поступила? — спросил я.

— Потому что люблю тебя, — ответила Рези.

— Как такое возможно?

— Я всегда любила тебя — с самого детства.

Я обхватил руками голову:

— Это ужасно!

— А я... я думала — прекрасно.

— Что теперь будет?

— А разве это не может продолжаться?

— О, Боже, как все запуталось! — воскликнул я.

— Значит, я нашла слова, которые убили любовь? А ты говорил, что любовь убить невозможно.

— Не знаю. — Я в растерянности покачал головой. — Какое странное преступление я совершил!

— Это я совершила преступление — наверное, в помешательстве, — промолвила Рези. — Когда я сбежала в Западный Берлин, мне дали там заполнить анкету — ну, кто я, кем работала, кого знаю и все такое...

— А была ли хоть капля правды в твоей такой длинной истории о России, Дрездене? — поинтересовался я.

— Я действительно работала на сигаретной фабрике в Дрездене, — ответила Рези. — И действительно сбежала в Берлин. Вот, пожалуй, и все. Но сигаретная фабрика — больше, чем просто правда: в течение десяти лет я работала там шесть дней в неделю, по десять часов в день.

— Прости.

— Это ты меня прости. Жизнь повернулась ко мне такой жестокой стороной, что за мной нет

слишком большой вины. Муки совести были непозволительной роскошью, такой же недостижимой, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, хотя на них у меня не было права.

— Почему? — спросил я.

— Ведь я мечтала быть другим человеком.

— Что же в этом плохого?

— А я объясню. Взгляни на себя. Взгляни на меня. На нашу любовь в отеле. Я мечтала быть моей сестрой. Хельга, Хельга, Хельга — вот кем я была в мечтах. Хорошенькой актрисой с красивым мужем-драматургом. А Рези — работница на сигаретной фабрике — испарилась.

— Ты могла бы выбрать кого-нибудь другого.

Рези вдруг осмелела:

— Но все так и есть. Она — это я. Я — это она. Я — Хельга, Хельга, Хельга. Ты мне поверил — какие еще нужны доказательства? Ведь я была для тебя Хельгой?

— Черт возьми! Подобный вопрос не задают джентльмену.

— У меня есть право на ответ?

— Ты имеешь право на ответ «да». Я тоже должен сказать «да» и добавить, что показал себя не с лучшей стороны. Мои разум, чувства, интуиция оказались не те, какими должны быть, — произнес я.

— А может, напротив — какими должны? И тебя они не обманули.

— Ты знаешь о Хельге?

— Она умерла, — ответила Рези.

— Ты уверена?

— А разве нет?

— Не знаю.

— Я не слышала о ней ни слова. А ты?

— Тоже.

— Но живые дают о себе знать, особенно если кого-нибудь сильно любят, как любила тебя Хельга.

— Наверное, ты права, — согласился я.

— Я люблю тебя не меньше, чем Хельга.

— Спасибо.

— И дала о себе знать. Это было нелегко, но я это сделала.

— Да, — кивнул я.

— Когда я оказалась в Западном Берлине и мне велели заполнить анкеты — имя, работа, ближайшие живые родственники, у меня оставался выбор. Я могла быть Рези Нот, работницей на сигаретной фабрике, одинокой женщиной без близких родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого, обворожительного, блестящего драматурга в США. — Она подалась вперед. — Что мне надо было выбрать?

Прости меня, Боже, но я снова предал свою Хельгу.

Обретя это второе признание, Рези стала показывать, что она не зеркальное отражение Хельги. Почувствовала, что может понемногу приучать меня к новой личности — ее собственной.

Это постепенное самораскрытие, отлучение от памяти о Хельге началось сразу, как только мы вышли из кафе. Она задала неприятно поразивший меня практический вопрос:

— Хочешь, я буду и дальше обесцвечивать волосы, или лучше вернуть изначальный цвет?

— А какой он на самом деле?

— Цвета меда.

— Прелестный цвет, — сказал я. — Как у Хельги.

— У меня — более рыжеватый оттенок.

— Интересно взглянуть.

Мы шли по Пятой авеню, и вскоре Рези спросила:

— Ты когда-нибудь напишешь для меня пьесу?

— Не знаю, смогу ли я еще сочинять.

— Разве Хельга не вдохновляла тебя?

— Вдохновляла — но не просто сочинять, а писать так, как я писал.

— То есть чтобы у нее была выигрышная роль?

— Да, — признал я. — Я писал пьесы специально под Хельгу, чтобы она сумела полностью выразить на сцене свою сущность.

— Мне хочется, чтобы со временем ты сделал это для меня.

— Может быть.

— Сущность Рези, — сказала она. — Рези Нот.

И тут я впервые услышал смех Рези.

Смех Хельги был совсем другой — словно шелест травы. Рези же смеялась звонко и мелодично. Ее особенно рассмешили идущие впереди оркестра мажоретки — они высоко закидывали ноги, крутили крепкими попками и вертели в руках хромированные жезлы, похожие на фаллосы.

— Никогда такого раньше не видела, — сказала Рези. — Для американцев, похоже, война — сексуальная вещь. — Она продолжала смеяться и выпячивала грудь, как бы прикидывая, получилась бы из нее хорошая мажоретка.

С каждым мгновением Рези становилась все моложе, радостнее и раскованнее. Белые волосы, цвет которых я первоначально принял за преждевременную седину, были результатом воздействия перекиси водорода, им злоупотребляют девочки, сбегаящие в Голливуд.

Отвернувшись от парада, мы заметили в витрине магазина огромную позолоченную кровать, похожую на ту, что когда-то была у нас с Хельгой.

В витрине виднелась не только эта вагнерианская кровать, там отражалась призрачная пара — мы с Рези, и призрачный парад позади. Бледные привидения и реальная кровать создавали тревожную композицию. Будто аллегория в викторианском стиле, такая картина хорошо смотрелась бы на стене какого-нибудь бара — развевающиеся знамена на улице, позолоченная кровать и два призрака — мужчины и женщины.

Не могу разгадать смысл аллегории. Но дам несколько наводок. Мужской призрак выглядел ужасно старым, изможденным, побитым жизнью. А женский, годившийся ему в дочери, был молодым, задорным и полным огня.

Глава 25

ОТВЕТ КОММУНИЗМУ...

Мы с Рези неторопливо двигались в сторону моего жалкого жилища, останавливались, разглядывали мебель, выпивали там и тут.

В одном баре Рези удалилась в дамскую комнату, и я остался один. Со мной заговорил завсегдатай бара.

— Вы знаете ответ коммунизму?

— Нет.

— Моральное перевооружение.

— А что это, черт возьми, такое?

— Движение.

— В каком направлении?

— Движение морального перевооружения, — произнес он, — выступает за абсолютную честность, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.

— От всей души желаю его членам большого успеха! — сказал я на прощание.

В другом баре мы с Рези познакомились с мужчиной, утверждавшим, будто он может полностью удовлетворить за ночь семь разных женщин.

— Одно условие: они должны быть совершенно разные.

О, Боже, какую только жизнь не пытаются вести люди!

О, Боже, и куда это их приведет!

Глава 26

В ЭТОЙ ГЛАВЕ УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ РЯДОВОГО ИРВИНГА БУЧАНОНА И ЕЩЕ КОЕ-КОГО...

Мы с Рези пришли домой только после ужина, когда стемнело. Еще раньше мы решили снова провести ночь в отеле, а вернулись потому, что Рези

захотелось помечтать, как мы обустроим мансарду, поиграть в собственное гнездышко.

— Наконец у меня появился дом, — сказала она.

— Надо долго жить на одном месте, чтобы дом стал родным, настоящим домашним очагом. — Я видел, что почтовый ящик снова разбух от почты, но открывать его не стал.

— Кто это написал? — спросила Рези.

— Ты о чем?

— Об этом. — И она указала на табличку на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику.

— Это что-то новенькое, — пробормотал я. — Лучше не подниматься. Нас там могут ждать.

— Я тебя не понимаю!

— Ты выбрала не самое удачное время для приезда, — объяснил я. — Раньше у меня была уютная маленькая норка, где мы могли бы жить припеваючи...

— Норка? — удивилась она.

— Потайная нора в земле — очень удобная. Но перед самым твоим появлением, — проговорил я с болью в голосе, — кто-то узнал о ней. — И я рассказал Рези, как неожиданно снова обрел дурную славу. — Теперь какие-то твари унюхали раскрытую норку и окружают нас.

— Поезжай в другую страну, — посоветовала она.

— В какую страну?

— В любую. У тебя достаточно денег, чтобы ехать куда хочешь.

— Куда хочу... — протянул я.

В подъезд зашел лысый, небритый толстяк с хозяйственной сумкой в руках. Он отпихнул нас плечом от почтовых ящиков, грубо пробурчав что-то вроде извинения. Он с трудом читал фамилии, водя пальцем по ним, как первоклассник, и каждую фамилию подолгу изучал.

— Кэмпбелл! — произнес наконец толстяк с большим удовлетворением. — Говард У. Кэмпбелл. — И, повернувшись ко мне, грозно спросил:

— Знаете его?

— Нет, — ответил я.

— Значит, нет, — повторил он со злорадством. — А вы очень похожи на него. — Толстяк вытащил из хозяйственной сумки «Дейли ньюс», раскрыл газету и вручил Рези. — Смотрите, разве это не портрет вашего спутника?

— Дайте взглянуть, — попросил я и, взяв газету из ослабевших пальцев Рези, увидел на странице давнюю фотографию себя и лейтенанта О'Хара у виселиц в Ордруфе.

В статье под фотографией говорилось, что правительство Израиля после пятнадцатилетних поисков обнаружило место, где я скрываюсь. Сейчас в Соединенных Штатах рассматривается требование правительства Израиля о выдаче военного преступника для суда. Что мне вменяют в вину? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.

Я еще не успел произнести ни слова, как мужчина нанес мне удар кулаком через газету. Я упал, ударившись головой о мусорный контейнер. Толстяк склонился надо мной.

— Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке или еще куда-то определят, — сказал он, — я сам с тобой немного побалуюсь.

Я потряс головой, стараясь прийти в себя.

— Ну как, оценил удар? — спросил мужчина.

— Да, — кивнул я.

— Это тебе за рядового Ирвинга Бучанона.

— Вы и есть Ирвинг Бучанон?

— Бучанон мертв, — ответил толстяк. — Он был моим лучшим другом. В пяти милях от Омаха-Бич* немцы отстрелили ему яйца и повесили на телефонном столбе.

Одной рукой придерживая Рези, он пнул меня ногой в ребра:

— А это за Анзела Бруэра, раздавленного танком «Тигр» под Аахеном.

Еще один пинок я получил за Эдди Маккарти, разорванного пополам пулеметной очередью в Арденнах.

— Эдди собирался учиться на врача, — добавил толстяк.

Он размахнулся своей огромной ногой, целясь мне в голову.

— А это за... — Дальше я не слышал. Удар был еще за кого-то, погибшего на войне, но я уже потерял сознание.

Позднее Рези передала последние слова моего мучителя и показала оставленный мне подарок.

* Так зашифрованно называлось место высадки союзников в Нормандии в июне 1944-го.

— Я из тех парней, которые помнят войну, — сказал он, хотя я уже не мог его слышать. — Многие, как вижу, забыли — но только не я. А это оставляю тебе, чтобы избавить других от хлопот. — И он ушел.

Оставленную веревку Рези сунула в мусорный контейнер, где ее на следующий день обнаружил мусорщик Ласло Сомбати. Кстати, Сомбати на ней и повесился, но это уже другая история.

Я очнулся на раздолбанном диванчике в сырой, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Тут был картонный камин — дешевый символ счастливого Рождества. Картонные дрова, раскрашенные под березу, зеленая подсветка и целлофановые языки вечного пламени дополняли картину.

Над камином висела литография Адольфа Гитлера, обмотанная черным шелком.

Я был раздет до нижнего белья невыразительного серо-коричневого цвета и накрыт пледом, имитирующим леопардовую шкуру. Я сел со стоном, голова раскалывалась от боли, словно в нее впились сотни ракет. Взглянув на так называемую леопардовую шкуру, я пробормотал нечто невразумительное.

— Что ты сказал, дорогой? — спросила Рези. Она сидела рядом с диванчиком, но я лишь сейчас ее заметил.

— Только не говори мне, — сказал я, натягивая на себя леопардовый плед, — что я попал к готтентотам.

Глава 27

НАШЕЛ — МОЕ...

Мои консультанты здесь, в тюрьме, — энергичные молодые люди, дали мне копию статьи в «Нью-Йорк таймс», где рассказывалось о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне.

Значит, то был не сон.

Сомбати отколол этот номер на следующий вечер после моего избиения. Согласно статье, он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах «Борцов за свободу» выступал против русских. Там же сообщалось о том, что он был братоубийцей, застрелил брата Миклоша, заместителя министра образования в Венгрии.

Перед тем как навеки уснуть, Сомбати приколот к брючине записку, но об убийстве брата там не было ни слова.

Основной причиной своего ухода Сомбати называл невозможность работать в Америке по специальности — ведь в Венгрии он был известным ветеринаром. Об американских свободах отзывался с горечью, называя их иллюзорными.

Завершая предсмертную записку, Сомбати в приступе паранойи и мазохизма намекал на то, что знает секрет исцеления от рака. Однако американские врачи смеялись над ним, писал венгр, когда он пытался говорить с ними об этом.

Но хватит о Сомбати.

Как выяснилось, место, в котором я вновь обрел сознание после последнего удара толстяка, был подвал, оборудованный покойным Августом Крапптауером для Железной гвардии белых сыновей американской конституции, а сам дом принадлежал доктору Лайонелу Дж.Д. Джонсу, Д.Х., Д.Б. Наверху работал печатный станок, выпускавший «Белого христианского активиста».

Из какой-то другой, частично звукоизолированной, комнаты доносились до идиотизма монотонные звуки учебной стрельбы.

Тогда в подъезде первую помощь мне оказал доктор Абрахам Эпштейн, тот, который констатировал смерть Крапптауера. Из квартиры Эпштейна Роза позвонила доктору Джонсу, ища помощи и совета.

— Но почему именно Джонсу? — спросил я.

— Он единственный в этой стране, кому я могла доверять. Только про него я знала, что он на твоей стороне.

— Что за жизнь без друзей? — произнес я.

Рези рассказала, что я пришел в себя в квартире Эпштейна, но я ничего этого не помнил. Джонс посадил нас с Рези в свой лимузин и отвез в больницу, где мне сделали рентген. Потом меня доставили в подвал Джонса и уложили на диван.

— А почему в подвал? — поинтересовался я.

— Для безопасности, — объяснила Рези.

— От кого?

— От евреев.

В комнату вошел водитель Джонса, он же чернокожий фюрер Гарлема, с подносом, на котором

были яйца, тосты и горячий кофе. Поставил поднос на столик рядом со мной и спросил:

— Голова болит?

— Ужасно.

— Примите аспирин, — посоветовал негр.

— Спасибо за совет.

— Многое в этом мире ни к черту не годится, — промолвил он, — но про аспирин такое не скажешь.

— Республика... Израиль хочет заполучить меня, — сообщил я Рези, сам не веря своим словам. — Они хотят судить меня за... Как там в газете?

— Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст, — произнесла Рези, — но евреи могут похитить тебя, как сделали с Адольфом Эйхманом.

— Не такая уж я важная птица... — пробормотал я.

— Евреи не будут просто гоняться за вами по свету, — заявил чернокожий фюрер.

— Что?

— Я хочу сказать, что теперь у них есть своя страна. Значит, есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. Чтобы захватить вас, у них есть все, кроме еврейской водородной бомбы.

— Кто там, черт его возьми, постоянно стреляет? — разозлился я. — Может, прекратит на время, пока моей голове не станет легче?

— Это твой друг, — объяснила Рези.

— Доктор Джонс?

— Нет, Джордж Крафт.

— Крафт? А он что тут делает? — удивился я.

— Он едет с нами.

— Куда?

— Это уже решено, — сказала Рези. — Все согласились, дорогой, что нам лучше уехать из страны. Доктор Джонс все устроил.

— Что именно?

— У друга Доктора есть самолет. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь чудесное место, где тебя никто не знает, и начнем новую жизнь.

Глава 28

Мишень...

Я отправился на поиски Джорджа Крафта в подвале Джонса. И нашел его в начале длинного коридора, конец которого был завален мешками с песком. На мешках я увидел мишень в виде человеческой фигуры. То была карикатура на курящего трубку еврея. Он попирал ногами разломанные кресты и миниатюрных обнаженных женщин. В одной руке еврей держал мешок денег с наклейкой «Международные банковские услуги», в другой — российский флаг. Из карманов его костюма фигурки отцов, матерей и детей вместе с растоптанными миниатюрными женщинами под ногами молили о пощаде. Из дальнего конца этого самодельного стрельбища детали рисунка были не очень видны, но я, и не подходя, знал, что там изображено.

Примерно в 1941 году я сам нарисовал эту мишень. Миллионы подобных мишеней распространились по Германии. Мои начальники пришли в такой восторг, что выдали мне премию: десять фунтов ветчины, тридцать галлонов бензина и неделю оплаченного пребывания вместе с женой в «доме творчества» в Ризенгебирге.

Должен признать, что эта мишень прямо вопиет о чрезмерном моем рвении: ведь я не работал у нацистов художником. Заявляя это, я свидетельствую против себя. Думаю, мое авторство — сюрприз даже для сотрудников Института документальной информации о военных преступниках в Хайфе. Однако подчеркиваю, я рисовал этого урода, чтобы упрочить репутацию нациста. Я здорово переборщил и всюду, кроме Германии или подвала Джонса, эта фигура вызвала бы смех — тем более что я нарисовал ее примитивнее, чем мог бы.

Однако мишень имела феерический успех. Этот успех меня ошеломил. Гитлерюгенд и новобранцы СС тренировались в стрельбе только по этой мишени, и я даже получил благодарственное письмо от Генриха Гиммлера.

«Ваша мишень позволила мне увеличить меткость на сто процентов, — писал он. — Настоящий ариец не может не попасть в цель, имея перед глазами эту великолепную мишень».

Видя, как увлеченно палит Крафт по мишени, я впервые понял причину ее популярности. Эта любительская мазня напоминала рисунки на стенах общественных уборных, вызывала в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды

и отвратительное ощущение пребывания в кабине, как в стойле, в общем, полностью соответствовала душевному состоянию солдата на войне.

Мой рисунок был лучше, чем я думал.

Не замечая меня в леопардовом облачении, Крафт выстрелил снова. Он стрелял из пистолета «люгер» — большого, как осадная гаубица. Пистолет был 22-го калибра, но стрелял довольно мягко. Следующим выстрелом Крафт продырявил мешок с песком в двух футах от мишени, и оттуда посыпался песок.

— Разувай глаза, когда стреляешь, — сказал я.

— А, ты встал на ноги, — оглянулся он, опуская пистолет.

— Да, — подтвердил я.

— Жуткая история приключилась.

— Да уж.

— Однако нет худа без добра. Может, благодаря этой истории, все и наладится.

— Каким образом? — не понял я.

— Это нас всех встряхнуло.

— Точно сказано.

— Когда ты со своей девушкой уедешь из этой страны, окажешься в новой среде и примеришь на себя новый облик, ты снова начнешь сочинять, — произнес Крафт. — И будешь писать раз в десять лучше прежнего. Теперь у тебя более зрелый взгляд на вещи.

— У меня сейчас голова раскалывается, — вздохнул я.

— Скоро пройдет, — заверил Крафт. — Голова не разбита, ее просто пронизывают мысли о себе и мире.

— Ясно, — кивнул я.

— И я тоже от смены обстановки стану лучше рисовать, — продолжил Крафт. — Никогда прежде не бывал в тропиках — этот мощный переизбыток света, почти осязаемая, зримая жара...

— А при чем тут тропики?

— Я думал, мы едем туда, — сказал он. — Рези тоже хочет в тропики.

— Ты едешь с нами?

— А ты возражаешь? — спросил Крафт.

— Вижу, вы времени не теряли, пока я спал.

— Разве плохо придумано? Мы не планировали ничего такого, что тебе не подходило бы.

— Джордж, — сказал я, — зачем тебе связывать свою судьбу с нами? Что делаешь ты в этом погребке с тараканами? У тебя нет врагов. А с нами, Джордж, ты обретишь множество врагов, которые так и липнут ко мне.

Крафт положил руку мне на плечо и посмотрел в лицо.

— Видишь ли, Говард, — промолвил он, — когда умерла моя жена, у меня не осталось никого в целом мире. Я тоже стал бессмысленным осколком некогда существовавшего «государства двоих». Но потом я открыл то, чего раньше не знал, — настоящую дружбу. Я с радостью соединю наши судьбы, друг. Ничто иное не интересует меня. Ничто не привлекает. Так что лучше мы с моими красками последуем за тобой, куда бы ни занесла тебя судьба.

— Да, это действительно дружба, — сказал я.

— Надеюсь, — отозвался Крафт.

Глава 29

АДОЛЬФ ЭЙХМАН и я...

Два дня я провел в этом странном подвале — выздоравливал и наблюдал.

Во время избиения моя одежда понесла непоправимый урон, и из имущества в доме доктора Джонса мне выделили нужные вещи. Это были поношенные черные брюки отца Кили и серебристая рубашка самого доктора Джонса, бывшая одно время частью униформы ныне не существующего движения американских фашистов под незатейливым названием «Серебряные рубашки». А чернокожий фюрер принес мне короткое оранжевое пальтецо в спортивном стиле, в котором я стал похож на обезьянку шарманщика.

И Рези Нот, и Джордж Крафт относились ко мне с трогательным вниманием — они не просто ухаживали за мной, а предупреждали каждое мое желание и думали об устройстве моего будущего. Главное — уехать из Америки как можно скорее. Разговоры, в которых я практически не принимал участия, крутились вокруг названий теплых мест, чуть ли не райских: Акапулько... Менорка... Родос... даже долина Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.

Сообщения, приходившие из внешнего мира, не делали мое пребывание в Америке привлекательным или даже возможным. Отец Кили выходил за газетами несколько раз в день, а для большей информированности мы еще слушали трепотню по радио.

Республика Израиль настаивала на моей выдаче, ободренная слухами, будто я не американский гражданин и вообще не являюсь подданным какой-либо страны.

Требования республики несли также и воспитательное значение, в них подчеркивалось, что пропагандист такого уровня приравнивается к убийцам, подобным Гейдриху, Эйхману, Гиммлеру и прочим грязным ублюдкам.

Может, так и есть. Я-то думал, что, работая на радио, просто развлекаю слушателей, но в этом жестком мире не так просто развлечь или рассмешить людей, ведь многие не умеют смеяться или думать — им легче слепо верить, злиться и ненавидеть. Многие люди хотели мне верить.

Говорите что хотите о милосердном чуде абсолютной веры, но лично я считаю такую веру ужасной и отвратительной.

Западная Германия вежливо поинтересовалась у правительства Соединенных Штатов, не являюсь ли я их гражданином. У них не было точных доказательств ни за, ни против: ведь касающиеся меня документы сгорели во время войны. Если я все же американский гражданин, они не меньше Израиля хотели бы заполучить меня для суда.

Но, если у меня германское гражданство, говорили они, им стыдно за такого немца.

Советская Россия в грубых выражениях, которые звучали, как шарикоподшипники, падающие на мокрый гравий, заявила, что никакой суд здесь не нужен. Такого фашиста, по их словам, надо раздавить, как таракана.

Однако подлинный запах смерти исходил от гнева моих соотечественников. Самые низкопробные газеты публиковали без комментариев письма простых людей, предлагавших провезти меня по стране в железной клетке; письма героев, готовых записаться в расстрельный отряд, словно владение пистолетом было искусством, доступным лишь избранным; и письма людей, которые сами не хотели ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и не сомневались, что найдутся сильные и молодые люди, знающие, как поступить.

Эти последние были правы. Вряд ли на свете существует общество, в котором нет сильных и молодых парней, готовых попробовать себя в убийстве при условии, что за этим не последует жестокого наказания.

В газетах сообщали, что справедливый гнев граждан привел к тому, что в мою жалкую мансарду вломилась толпа и разнесла окна, круша и ломая все подряд. Теперь эта оскверненная и ненавистная всем мансарда находилась под круглосуточным надзором полиции.

В редакционной статье «Нью-Йорк пост» выражалось сомнение, что полиции удастся обеспечить мне необходимую защиту, поскольку враги мои многочисленны, а их озлобленность естественна. Спасти меня может, сообщала редакция, только батальон морпехов, если они будут охранять меня всю мою оставшуюся жизнь.

«Нью-Йорк дейли ньюс» считала моим самым страшным военным преступлением то, что я не покончил с собой, как сделал бы на моем ме-

сте джентльмен. Видимо, Гитлер в их глазах был джентльменом.

Журнал «Ньюс», кстати, опубликовал письмо от Бернарда О'Хара, поймавшего меня в Германии и недавно написавшего письмо, размноженное под копирку:

«Я хочу лично расправиться с этим человеком. И у меня есть на это право. Я задержал его в Германии. Знай я тогда, что он улизнет, прямо на месте разmozжил бы ему голову. Если кто-нибудь увидит Кэмпбелла раньше меня, скажите, что Берни О'Хара мчится к нему прямым рейсом из Бостона».

«Нью-Йорк таймс» писала, что терпеть и даже охранять такого паразита, как я, — парадоксальная неизбежность в системе истинно свободного общества.

По словам Рези, правительство Соединенных Штатов не станет выдавать меня Республике Израиль. Для этого нет законных оснований. Однако Соединенные Штаты пообещали провести полное и открытое расследование моего затянувшегося дела, определить наконец мой гражданский статус и понять, почему меня ранее не привлекали к суду.

«Нью-Йорк таймс» поместила на страницах газеты мое изображение в молодости и официальную фотографию тех лет, когда я служил у нацистов и был кумиром радиослушателей. Мне оставалось лишь гадать, в каком году она была сделана. Думаю, в 1941-м.

Фотограф Арндт Клопфер сделал тогда все, чтобы я выглядел как намазанный кольдкремом Иисус с картин Максфилда Пэрриша. Он даже окружил меня чем-то вроде нимба, умело расположив позади освещение. Не я один удостоился подобной чести. Все, кто фотографировался у Клопфера, тоже получили свой нимб, в том числе и Адольф Эйхман.

Про Эйхмана я знаю наверняка — мне даже не нужно подтверждение из Института в Хайфе, ведь он фотографировался в студии Клопфера передо мной. Это был единственный раз, когда я встретился с ним в Германии. Следующая наша встреча произошла в Израиле — всего две недели назад, когда меня ненадолго перевели в тюрьму Тель-Авива.

Об этой встрече. Я провел в Тель-Авиве двадцать четыре часа. На пути в камеру охранники остановили меня у камеры Эйхмана, чтобы послушать, о чем мы будем говорить. Мы не узнали друг друга, и охранникам пришлось нас представить.

Эйхман занимался тем, что писал историю своей жизни. Этот старый, ошипанный стервятник с лицом почти лишенным подбородка, на совести которого было шесть миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Казалось, он искренне интересуется всем — работой над книгой, моей персоной, тюремными охранниками...

Лучезарно улыбаясь, он произнес:

— Я никого не виню.

— Так и должно быть, — отозвался я.

— Хотелось бы дать вам один совет, — сказал Эйхман.

— С радостью вас выслушаю.

— Расслабьтесь, — промолвил старик, излучая улыбки, улыбки, улыбки. — Просто расслабьтесь.

— Из-за этого я и попал сюда.

— Жизнь состоит из нескольких циклов. Каждый не похож на остальные, и вам нужно догадаться, что от вас требуется на сей раз. Это секрет успешной жизни.

— Спасибо, что поделились со мной секретом, — поблагодарил я его.

— Теперь я писатель, — сообщил он. — Никогда не думал, что буду сочинять.

— Разрешите задать вам нескромный вопрос?

— Безусловно, — милостиво разрешил он. — Я как раз в нужном цикле. Время размышлений и ответов.

— Чувствуете ли вы свою вину за убийство шести миллионов евреев? — спросил я.

— Конечно, нет, — ответил создатель Освенцима и конвейерной работы крематория, самый крупный потребитель газа под названием «Циклон-Б».

Не зная его хорошо, я попробовал подшутить над ним, во всяком случае, мои слова прозвучали с легкой иронией:

— Понимаю, вы были просто солдатом и, как все солдаты, получали приказы от вышестоящих начальников?

Повернувшись к охраннику, Эйхман заговорил с ним на идиш так быстро, словно строчил из пулемета. Старик был явно возмущен. Если бы он говорил медленнее, я бы понял смысл беседы.

— Что он сказал? — обратился я к охраннику.

— Заключенный интересовался, не ознакомились ли вы с его официальными показаниями. Просил не показывать их никому, пока все не закончится.

— Я их не видел, — сказал я Эйхману.

— Тогда откуда вам известно, на чем строится моя защита?

Этот человек действительно верил, будто изобрел собственную линию защиты, хотя к такому избитому аргументу прибегла, защищаясь, вся страна в количестве более девяноста миллионов человек. Вот так примитивно он понимал божественный дар изобретательства.

Чем дольше я думаю об Эйхмане и себе, тем больше крепнет мое убеждение, что его нужно просто упрятать в психушку, а пострадать от прекрасного и справедливого человечества должен я.

Желая помочь суду, который будет вершиться над Эйхманом, я хочу заявить, что он органически неспособен различать добро и зло — как неспособен различать правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию — все это пролетает сквозь его сознание как мелодия рожка.

У меня другой случай. Я всегда знаю, когда лгу, могу предвидеть жестокие последствия для тех, кто поверит в мою ложь, и знаю, что жестокость — зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как нельзя не заметить, когда выходит почечный камень.

Если бы я мог родиться еще раз, то хотел бы в новом воплощении быть человеком, про которого можно с уверенностью сказать: «Простите его, ибо не ведает, что творит».

Сейчас обо мне этого не скажешь.

Как мне кажется, единственным преимуществом моей способности отличать зло от добра является умение посмеяться там, где люди подобные Эйхману не видят ничего смешного.

— Вы продолжаете писать? — спросил меня Эйхман тогда в Тель-Авиве.

— Последний проект — подача требуемых сведений для архива, — ответил я.

— Вы ведь профессиональный писатель?

— Кое-кто так считает.

— Скажите, есть ли у вас определенные часы, отведенные для работы, независимо от настроения, или вы ждете прилива вдохновения?

— Придерживаюсь расписания, — произнес я, мысленно возвращаясь в прошлое.

Я почувствовал, что Эйхман проникся ко мне уважением.

— Понимаю, понимаю, — кивнул он. — Расписание. Я тоже к этому пришел. Иногда просто сижу и смотрю на пустой лист бумаги, и все же продолжаю отсиживать намеченное для работы время. А как насчет спиртного? Помогает?

— Думаю, это иллюзия. А если и помогает, то на полчаса. — Это знание я тоже обрел в молодости.

Эйхман вдруг пошутил:

— Что касается этих шести миллионов...

— Да?

— Могу поделиться несколькими для вашей книги. Мне и оставшихся хватит.

Дарю эту шутку истории при условии, что рядом не было записывающих устройств.

Это одна из незабвенных острот Чингисхана бюрократии.

Не исключаю, что Эйхману хотелось услышать от меня признание, что своим красноречием я тоже довел до гибели множество людей. Однако сомневаюсь, что он так тонко мыслил, хотя в нем много чего было намешано. Если бы мы все-таки пошли на дележ, думаю, я бы и одного не получил. Ведь если бы Эйхман начал разбрасываться этими миллионами, то перестал бы быть Эйхманом — тем Эйхманом, каким себя представлял.

Охранники повели меня дальше, и следующий контакт с «Человеком столетия» произошел с помощью записки, которую таинственным образом переправили из Тель-Авива в Иерусалим. На прогулке у моих ног упала бумажка, выброшенная неизвестно кем. Я поднял ее и прочитал: «Считаете, без литературного агента не обойтись?» Записка была подписана Эйхманом.

А вот мой ответ: «Для Книжного клуба* и американских кинопродюсеров агент абсолютно необходим».

Глава 30

Дон Кихот...

Решено: мы летим в Мехико-сити — Крафт, Рези и я. Таков план. Доктор Джонс не только обеспечивает нам транспорт, но и прием по окончании полета.

* Коммерческая организация, отбирающая из недавних бестселлеров книги для дополнительных тиражей.

Из города мы начнем поиски какой-нибудь затерянной деревушки, где нам предстоит провести остаток наших дней.

О таком можно было только мечтать. И казалось не только вероятным, но и вполне реальным, что я опять начну писать. Я робко намекнул об этом Рези. Она даже заплакала от радости. Действительно от радости? Я уверен только в том, что слезы были мокрые и соленые.

— Имею я хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному, божественному чуду? — спросила Рези.

— Только ты и имеешь, — ответил я, сжимая ее в объятиях.

— Нет, нет... Если имею — только самую малость. Может, чуточку, слава Богу, имею. Настоящее чудо — твой природный талант.

— Настоящее чудо — твой дар воскрешать мертвых, — возразил я.

— Любовь творит чудеса, — улыбнулась Рези. — Я тоже воскресла. Ты ведь не думаешь, что раньше я была живой?

— А если начать с этого? — спросил я. — В нашей мексиканской деревушке, на берегу Тихого океана, может, начать писать обо всем этом?

— Да, да, о, да... дорогой, дорогой! — восторженно откликнулась она. — А я в это время буду ухаживать за тобой. Но у тебя... будет оставаться немного времени на меня?

— Все время после полудня, вечер и ночь. Это время — только для тебя.

— Ты уже придумал себе имя? — спросила Рези.

— Имя?

— Твое новое имя — имя нового писателя, чьи прекрасные книги станут таинственным образом приходить из Мексики. А я буду миссис...

— Сеньора, — поправил я.

— Сеньора — а дальше? Сеньор и сеньора — кто?

— Придумай нам имя сама.

— Это слишком важно. Я не могу придумать прямо сейчас.

Вошел Крафт, и Рези попросила его придумать мне псевдоним.

— Как насчет Дон Кихота? — предложил он. — Тогда ты станешь Дульсинеей Тобосской, а я буду подписывать свои картины как Санчо Панса.

За ним вошли и доктор Джонс с отцом Кили.

— Самолет будет готов к утру завтрашнего дня, — сообщил Джонс. — Вы уверены, что в состоянии лететь?

— Я готов лететь хоть сейчас.

— Человека, который встретит вас в Мехико-Сити, зовут Арндт Клопфер, — продолжил Джонс. — Постарайтесь запомнить.

— Фотограф? — изумился я.

— Вы его знаете?

— Он делал мою официальную фотографию в Берлине.

— Сейчас он лучший пивовар в Мексике.

— Слава Богу! Ведь последнее, что я слышал о нем — будто в его ателье угодила пятисотфунтовая бомба.

— Хорошего человека не сломить, — заметил Джонс. — А теперь у нас с отцом Кили к вам просьба.

— Да?

— Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной гвардии белых сыновей американской конституции, — сообщил Джонс. — Мы с отцом Кили хотим устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крапптауеру.

— Понимаю, — кивнул я.

— Мы с отцом Кили боимся, что можем потерять самообладание, произнося хвалебную речь в его честь. Для нас это станет ужасным эмоциональным напряжением. И мы подумали, может, вы, известный оратор, человек, у которого не язык, а золото, согласитесь сказать несколько слов о покойном.

Я не смог отказаться.

— Значит, нужна хвалебная речь?

— Отец Кили продумал основную тему, если это поможет, — произнес Джонс.

— Конечно, поможет, и я с удовольствием воспользуюсь ей.

Отец Кили откашлялся.

— Думаю, следует придерживаться темы «Дело его живет», — сказал выживший из ума старый слуга.

Глава 31

«ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ...»

Железная гвардия белых сыновей американской конституции расселась рядом на складных стульях в котельной доктора Джонса. Гвардейцев было двадцать — в возрасте от шестнадцати

до двадцати лет. Все блондины выше шести футов. Одеты они были с иголочки — в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На то, что они гвардейцы, указывала маленькая золотистая ленточка в петлице правого лацкана. Если бы доктор Джонс не привлек мое внимание к этой необычной детали, я не заметил бы петлицы на правом лацкане.

— Даже если ленточки не будет, гвардейцы по петлице узнают друг друга, — объяснил он. — Так они поймут, что их ряды растут. А другие люди не обратят на это внимания.

— Значит, им пришлось просить портных сделать петлицы в правом лацкане? — поинтересовался я.

— Нет, это работа их матерей, — ответил отец Кили.

Кили, Джонс, Рези и я сидели на импровизированном подиуме лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рези присоединилась к нам, согласившись сказать несколько слов о том, что пережила у коммунистов за «железным занавесом».

— Большинство портных — евреи, — произнес Джонс. — Не хочется марать руки.

— Да и матерям не мешает участвовать в нашем деле, — добавил отец Кили.

На подиум поднялся шофер Джонса — чернокожий фюрер Гарлема. Он повесил за нашей спиной большой холщевый транспарант, привязав его концы к трубам парового отопления. На нем был призыв: «Преуспевайте в учебе. Во всем будьте пер-

выми. Развивайте тело и держите его в чистоте. Не болтайте лишнего».

— Эти ребята все местные? — спросил я.

— Нет, что вы! — ответил Джонс. — Только восемь из Нью-Йорка. Девять из Нью-Джерси, двое — из Пикскилла, они близнецы, а один вообще приехал из Филадельфии.

— Он каждую неделю ездит сюда из Филадельфии?

— А что ему остается? Никто не научит тому, чему учил здесь Август Крапптауер.

— А как вы их набираете? — спросил я.

— Через газету. Впрочем, они сами приходят. Обеспокоенные, совестливые родители постоянно пишут в редакцию «Белого христианского активиста», спрашивая, существует ли молодежное движение, выступающее за сохранение чистой американской крови. Одно письмо женщины из Бернардсвилла, штат Нью-Джерси, потрясло меня до глубины души. Она позволила своему мальчику вступить в ряды бойскаутов Америки, не зная, что БСА на самом деле должно расшифровываться «Бешеные семиты Америки». Он достиг степени скаута-орла, пошел в армию, служил в Японии и привез оттуда жену-японку.

— Август Крапптауер рыдал, когда читал это письмо, — промолвил отец Кили. — Именно тогда он решил, несмотря на усталость и болезни, вернуться к работе с молодежью.

Отец Кили призвал присутствующих к порядку и стал возносить молитву. Молился он достаточно

традиционно — просил Божьей помощи и мужества перед лицом врагов.

Впрочем, был один необычный момент, о таком я не слышал раньше — даже в Германии. Чернокожий фюрер стоял в глубине помещения — у барабана. Звук его был приглушен — как выяснилось, барабан накрыли той же материей «под леопарда», в которую я кутался, как в халат. В конце каждого молитвенного призыва чернокожий фюрер ударял в барабан.

Краткое сообщение Рези об ужасах жизни за «железным занавесом» было таким нудным и никуда не годным, с воспитательной точки зрения, что Джонсу пришлось подсказывать ей.

— В самых ярых коммунистах течет еврейская или восточная кровь, так ведь? — спросил он.

— Что? — не поняла Рези.

— Так оно и есть. Об этом и говорить нечего, — заявил Джонс, резко оборвав ее.

Где находился Джордж Крафт? Сидел среди слушателей в последнем ряду, рядом с закутанным барабаном.

Джонс вызвал меня, назвав человеком, который не нуждается в представлении. Он попросил меня немного подождать — у него есть сюрприз. Сюрприз у него действительно был. Чернокожий фюрер перешел от барабана к реостату и стал постепенно, под голос Джонса, убавлять свет. В сгушавшемся мраке Джонс рассказывал об интеллектуальном и моральном состоянии американского общества во время Второй мировой войны. Говорил, как пре-

следовали белых патриотов за их убеждения и почти все они были брошены в федеральные тюрьмы.

— В Америке нельзя было найти правду нигде, — заявил он.

Помещение погрузилось во мрак.

— Почти нигде, — продолжил Джонс в темноте. — Найти ее мог лишь счастливчик, у которого был приемник, принимающий короткие волны. Только оттуда была живая струя правды.

И тут в темноте раздался характерный треск приемника, обрывки немецкой речи, звуки Первой симфонии Брамса, похоже, исполняемой на казу*, а затем громко и отчетливо:

Говорит из свободного Берлина Говард У. Кэмпбелл-младший, один из немногих свободных американцев. Я хотел бы приветствовать своих соотечественников, а именно чистокровных белых американцев из 106-й дивизии, занимающих сейчас позиции у Сен-Вита. Родителей молодых людей из этой еще необстрелянной дивизии я могу успокоить: обстановка в районе в настоящий момент спокойная. 442-й и 444-й полки — на передовой, 423-й — в резерве.

В последнем номере «Ридерз дайджест» есть прекрасная статья «В окопах нет атеистов». Мне хотелось бы немного расширить данную тему и сказать вам следующее — несмотря на то, что войну спровоцировали евреи и только им она

* Духовой музыкальный инструмент африканского происхождения — полая труба с мембраной на одном конце.

выгодна, в окопах нет евреев. Рядовые из 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи слишком заняты учетом вещевого довольствия в интендантских или финансовых службах, продажей контрабандных сигарет, нейлоновых чулок в Париже, держась от фронта не ближе сотни миль.

Вы, оставшиеся дома родные, родители и близкие этих парней на фронте, подумайте о тех евреях, которых знаете. Подумайте хорошенько.

А теперь скажите мне, стали эти евреи богаче или беднее? Едят они лучше или хуже вас? Меньше или больше у них бензина?

Я уже знаю ответы на все эти вопросы, как будете знать их и вы, если откроете шире глаза и минуту хорошенько подумаете.

И еще позвольте мне спросить:

Знаете ли вы хотя бы одну еврейскую семью, которой пришла бы телеграмма из Вашингтона, когда-то столицы свободного народа... знаете ли вы хотя бы одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начиналась бы словами: «По поручению военного министра выражаю вам искреннее соболезнование по поводу...»?

И так далее.

В темноте подвала пятнадцать минут звучал голос свободного американца Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Не подумайте, будто я хотел скрыть свой стыд за непринужденным «и так далее».

В Институте документальной информации о военных преступниках хранятся записи всех радиопе-

редач Говарда У. Кэмпбелла-младшего. Если кто-то захочет ознакомиться с ними, выбрать из них наиболее омерзительные куски, у меня нет возражений — пусть их добавят как приложение к моим запискам.

Не могу отрицать — да, я говорил это. Могу только сказать, что ничему этому не верил и прекрасно понимал, что говорю невежественные, разрушительные, непристойные и абсурдные вещи.

Я сидел в темноте, слушал свои отвратительные речи, но не впадал в ступор. Наверное, следовало сказать в свою защиту, что я покрылся холодным потом или подобную чепуху. Но я всегда признавал, что делаю. И мог с этим жить? Как? Современному человеку дан простой и бесценный дар — шизофрения.

В темноте случилось кое-что, заслуживающее внимания. Кто-то сунул мне в карман записку — нарочито неуклюже, чтобы я сразу заметил. Когда свет вновь зажегся, я не сумел понять, кто это сделал.

Я произнес похвальную речь Августу Крапптауеру, добавив, кстати, то, во что незыблемо верю: дело Крапптауера будет жить вечно, пока мужчины и женщины будут больше доверять своему сердцу, а не разуму.

Раздались дружные аплодисменты и барабанный бой от чернокожего фюрера. Я пошел в туалет и там прочитал записку. Она была написана печатными буквами на линованной бумаге, вырванной из блокнота на пружинках. Вот что в ней говорилось:

«Дверь из котельной открыта. Выходите сразу. Жду вас в пустом магазине напротив дома. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Съешьте записку».

Дальше следовала подпись Моей Волшебной Крестной: «Лайонел Фрэнк Виртанен».

Глава 32

РОЗЕНФЕЛЬД...

Мистер Элвин Добрович, мой адвокат в Иерусалиме, сказал, что я непременно выиграю процесс, если найду хотя бы одного свидетеля, видевшего меня в обществе человека, которого знаю как полковника Фрэнка Виртанена.

Я виделся с Виртаненом три раза: перед войной, сразу после нее и в пустом магазине на противоположной стороне улицы от дома Преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Д.Х., Д. Б. Во время нашей первой встречи на скамейке в парке кто-то мог нас видеть, но вряд ли удержал в памяти дольше белок и птиц.

Второй раз мы встретились в Висбадене, в столовой бывшей школы по подготовке офицеров для Инженерного корпуса вермахта. На стене был изображен танк,двигающийся по живописной, извилистой сельской дороге. На ясном небе ярко светит солнце. И эта буколическая картина вот-вот рассыплется в прах.

В зарослях на переднем плане расположилась группа веселых Робин Гудов в стальных шлемах —

саперов, для которых минирование дороги явилось очередным поводом для шуток, и молодые люди становились все веселее по мере установки противотанкового орудия и пулемета. Они были счастливы.

Как я оказался в Висбадене? Меня забрали из лагеря для военнопленных Третьей армии неподалеку от Ордруфа 15 апреля, через три дня после того, как меня арестовал лейтенант Бернард О'Хара.

В Висбаден меня доставили в джипе под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. В дороге мы почти не разговаривали. Я был ему не интересен. Он постоянно пребывал в состоянии с трудом сдерживаемого гнева, который не имел никакого отношения ко мне. Может, его унизили, оскорбили, оклеветали, не так поняли?

Во всяком случае, лейтенант вряд ли мог считаться свидетелем. Он выполнял поручение, которое его тяготило. Спросив дорогу к лагерю, а потом к столовой, лейтенант высадил меня у дверей столовой, велел войти внутрь и ждать. А сам уехал, оставив меня без охраны.

Я так и сделал, хотя мог легко сбежать.

В этом унылом амбаре сидел в одиночестве на столе у расписанной стены тот, кого я называл Моей Волшебной Крестной.

На Виртанене была американская солдатская военная куртка на «молнии», защитного цвета брюки, рубашка с открытым воротом и тяжелые ботинки на шнуровке. Оружия при нем не было. Как и знаков отличия.

У него были короткие ноги. Виртанен сидел на столе и болтал ступнями, которые не доставали до пола. Тогда ему, наверное, было не менее пятидесяти пяти, на семь лет больше, чем в нашу первую встречу. За это время он облысел и прибавил в весе.

У полковника Фрэнка Виртанена был дерзкий вид розовощекого малыша, который тогда, благодаря победе и американской походной форме, обрели многие немолодые люди.

Широко улыбаясь, он с чувством пожал мне руку и спросил:

— Ну, и что вы думаете об этой войне, Кэмпбелл?

— Предпочел бы не участвовать в ней.

— Примите мои поздравления. Вы, во всяком случае, остались живы. А многим не повезло.

— Знаю. Моей жене, например.

— Мне очень жаль, — сочувственно произнес Виртанен. — Я узнал об этом в тот же день, что и вы.

— Каким образом? — удивился я.

— От вас. В тот вечер вы передали данную информацию среди прочих.

Известие о том, что я передал закодированную информацию об исчезновении Хельги, даже не осознавая, что я это делаю, расстроила меня больше всего. Мне до сих пор это неприятно. Сам не знаю, почему. Думаю, это свидетельствовало о большем распаде моей личности, чем я мог предположить.

В то тяжелое время, когда почти не осталось сомнений в смерти Хельги, я хотел бы в одиночку скорбеть о любимой. Но нет. Часть моего «я» в за-

кодированной форме сообщила всем о трагедии, в то время как другая даже не знала о том, что я совершаю.

— Разве то была важная военная информация? Ее что, нужно было отправить из Германии, рискуя моей жизнью? — обратился я к Виртанену.

— Конечно. Как только мы ее получили, сразу стали действовать.

— Действовать? Но как? — Я был заинтригован.

— Искать вам замену. Мы думали, вы покончите с собой еще до восхода солнца.

— Так и надо было сделать, — сказал я.

— Я искренне рад, что подобного не случилось.

— А я, напротив, чертовски сожалею. Человек, так тесно связанный с театром, как я, знает, когда герою пора покинуть сцену — если он действительно герой. — Я щелкнул пальцами. — Пьеса «Государство двоих» — о Хельге и мне — провалилась, потому что я не написал ключевую сцену самоубийства.

— Я не поклонник самоубийств, — заметил Виртанен.

— А я поклонник совершенной формы. Мне нравится, когда произведения имеют начало, середину и конец, и, когда возможно, мораль тоже.

— Но есть шанс, что ваша жена жива, — постарался успокоить меня Виртанен.

— Пустая надежда. Пьесе конец.

— Вы что-то говорили о морали?

— Если бы я покончил с собой, как вы ожидали, тогда, вероятно, до вас дошла бы и мораль.

— Мне нужно подумать, — произнес он.

— Что ж, думайте, — пожал плечами я.

— Я не привык ни к форме, ни к морали. Если бы вас не стало, я бы, наверное, сказал нечто вроде: «Черт побери, что нам теперь делать?» А что до морали — даже просто похоронить мертвых — большая работа. Не извлечешь ведь мораль из каждой отдельной смерти. Мы не знаем имен половины убитых. Но про вас я могу сказать, что вы были хорошим солдатом.

— Вы так считаете?

— Из всех моих подопечных лишь вы благополучно прошли войну, оставшись надежным и живым, — объяснил он. — Вчера я проделал небольшой, но неприятный подсчет, Кэмпбелл, и оказалось, что вы один из сорока двух человек не только были блестящим агентом, но и остались живы.

— А что случилось с людьми, поставлявшими мне информацию?

— Все они погибли, — печально произнес Виртанен. — Кстати, это были женщины. Семь женщин. Каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передать вам информацию. Они были счастливы, когда раз за разом слышали ваши передачи, и умерли счастливыми. И ни одна из них не предала вас, подумайте над этим.

— Похоже, мне и без того есть над чем подумать, — заметил я. — Не сомневаюсь в ваших качествах наставника и философа, но и до нашего счастливого воссоединения мне было о чем задуматься. Что со мной будет дальше?

— Вы уже исчезли. Ни в Третьей армии, ни здесь нет никаких документов, свидетельствующих

о вашем присутствии в этих местах. — Виртанен развел руками. — Куда бы вы хотели поехать и кем бы хотели стать?

— Вряд ли меня где-нибудь встретят как героя.

— Да.

— Известно что-нибудь о моих родителях? — спросил я.

— Мне очень жаль, но они умерли четыре месяца назад.

— Оба?

— Сначала отец, а через двадцать четыре часа — мать. Оба — от сердца.

У меня на глазах выступили слезы, я покачал головой.

— Им не сообщили, чем я занимался на самом деле? — спросил я.

— Радиостанция в центре Берлина была важнее спокойствия двух стариков.

— Вы так считаете?

— Я должен так считать. Вам это необязательно.

— Сколько человек знало, что я делал?

— Хорошего или плохого?

— Хорошего.

— Трое, — ответил он.

— Всего? — изумился я.

— Это много. Даже слишком много. Знали — я, генерал Донован и еще один человек.

— Только трое во всем мире знали, кто я... А остальные... — Я пожал плечами.

— Они тоже знали, кто вы, — резко произнес Виртанен.

— Но тот человек был не я, — возразил я, ошеломленный его резкостью.

— Кто бы он ни являлся, это был один из самых гнусных подонков, которых когда-либо носила земля.

Я был потрясен. Виртанен говорил искренне.

— И это смеее говорить вы — тот, кто толкнул меня на это? Как еще я мог выжить? — возмутился я.

— Это ваша проблема. Немногие решили бы ее так успешно, как вы.

— По вашему мнению, я был нацистом? — спросил я.

— Несомненно, — заявил он. — Как еще назвал бы вас беспристрастный историк? Позвольте задать вам один вопрос.

— Слушаю.

— Представьте, что Германия победила, завоевала весь мир... — Он замолчал и вскинул голову. — Вы должны догадаться, о чем я хочу спросить.

— Как бы я жил дальше? Что чувствовал? Как себя повел?

— Вот именно. С вашим воображением вы не могли не думать об этом.

— Мое воображение — уже не то, что было раньше. Став агентом, я быстро уяснил, что не могу позволить себе иметь воображение.

— Вы так и не ответили на мой вопрос, — настаивал Виртанен.

— Можем прямо сейчас узнать, осталась ли у меня крупица воображения. Дайте мне одну-две минуты...

— Сколько хотите.

Я представил себя в ситуации, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало вызывающе циничный ответ:

— Вероятно, я превратился бы в некое подобие Эдгара Геста* в нацистском варианте и рассылал бы ежедневно оптимистическую рифмованную чушь по всему миру. А с наступлением старости, заката жизни, как говорится, я мог бы даже поверить в основную мысль своих куплетов: все к лучшему в этом лучшем из миров!

Я пожал плечами.

— Убил бы я кого-нибудь? Сомневаюсь. Вооруженный заговор? Это еще куда ни шло. В свое время я слышал много взрывов, но подобное решение вопроса никогда не казалось мне убедительным. Могу гарантировать только одно: пьес я больше не сочинял бы. Каким бы ни было мое мастерство, оно утрачено навсегда.

Единственная возможность для меня совершить что-то решительное и жестокое ради правды или справедливости — сделать это в состоянии безумия. Такое могло бы случиться, — признался я Моей Волшебной Крестной. — Тогда я мог бы выбежать на мирную улицу в обычный день, сжимая в руках смертельное оружие. Но пошел бы этот поступок во благо мира или нет — вопрос простой удачи. Вы удовлетворены моим ответом?

— Да, спасибо, — кивнул Виртанен.

* Американский автор псевдонародных стихов, популярный в 1910—1930 гг.

— Можете считать меня нацистом, — устало произнес я. — Да кем хотите. Можете повесить меня, если сочтете, что это повысит общий моральный уровень. Жизнь не назовешь большим подарком. У меня нет никаких послевоенных планов.

— Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать, — произнес он. — Думаю, вам это ясно.

— Насколько мало?

— Можем сделать фальшивые документы, направить кое-кого по ложному следу, доставить вас в место, где вы начнете новую жизнь. Какие-то деньги — немного, но все-таки.

— Деньги? В какую же сумму вы оценили мою службу? — спросил я.

— У нас обычные расценки, — ответил он. — Эта традиция восходит еще к Гражданской войне.

— Вот как?

— Ваша служба оценивается в жалованье рядового. Я распорядился, чтобы учет велся со времени нашей встречи в парке Тиргартен по сегодняшний день, — сообщил Виртанен.

— Какая щедрость!

— Щедрость — это не к нам. Наши лучшие агенты вообще не интересуются деньгами. Что изменилось бы, если бы вам выдали жалованье бригадного генерала?

— Ничего.

— Или вообще не заплатили?

— Тоже ничего.

— Дело обычно не в деньгах и даже не в патриотизме, — заметил Виртанен.

— А в чем же?

— Каждый сам решает этот вопрос. Можно сказать, что шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума по-своему.

— Любопытно, — равнодушно проговорил я.

Виртанен хлопнул в ладоши:

— А теперь решайте, куда вас отправить?

— На Таити?

— Я бы предложил Нью-Йорк, там легко затеряться, да и работы достаточно, если возникнет желание, — посоветовал он.

— Пусть будет Нью-Йорк.

— Вам надо сфотографироваться для паспорта. Через три часа вы улетите отсюда.

Мы шли по учебному плацу, ветер закручивал пыльные вихри. Мне вдруг представилось, будто это тени бывших курсантов училища, погибших на войне и теперь вернувшихся, чтобы весело закружиться в мирном танце, позабыв о военных маршах.

— Помните, я говорил вам, что только трое знали о ваших закодированных передачах? — вдруг спросил Виртанен.

— Да. И что?

— Вы не поинтересовались, кто был третий человек.

— Это кто-то, о ком я слышал?

— Да, — кивнул Виртанен. — К сожалению, он умер. Вы нападали на него в своих передачах.

— Неужели?

— Этого человека звали Франклин Делано Рузвельт. Каждую ночь он с удовольствием слушал ваши передачи.

Глава 33

КОММУНИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ...

Третий и, судя по всему, последний раз я встретился с Моей Волшебной Крестной в пустом магазине напротив дома Джонса, где укрывались Рези, Джордж Крафт и я.

Я не спешил войти в темное помещение, подозревая, что там может таиться кто угодно — от Американского Черного Легиона до группы израильских парашютистов, заманивших меня в ловушку.

У меня был при себе пистолет «Люгер», переделанный на 22-й калибр. Я достал его из кармана и держал перед собою — заряженным, с взведенным курком. Не обнаруживая себя, осмотрел фасад магазина. Он был погружен в темноту. Тогда я короткими перебежками — от одного мусорного контейнера до другого — добрался до черного хода.

Всякого, кто попытался бы наброситься на меня — Говарда У. Кэмпбелла-младшего, — я просил бы мелкими пульками, как швейной машинкой. Надо заметить, я проникся любовью к пехоте за то время, что перебегал от контейнера к контейнеру и прятался за ними. Наверное, человек — пехотное животное.

В задней части магазина горел свет. Я заглянул в окно и увидел вполне безмятежную картину. Моя Волшебная Крестная — полковник Фрэнк Виртанен — снова сидел на столе и ждал меня. Теперь это был очень пожилой человек, округлый и лысый, как Будда. Я шагнул внутрь.

— Думал, вы уже ушли в отставку, — сказал я.

— Ушел. Восемь лет назад. Сколотил собственными руками с помощью одного лишь топора дом на озере в Мэне. Меня вызвали как специалиста, — ответил Виртанен.

— По какому вопросу? — поинтересовался я.

— По вашему.

— Откуда взялся внезапный интерес к моей особе? — удивился я.

— Это я и хочу выяснить.

— А что странного в том, что израильтяне хотят получить меня?

— Согласен. Но непонятно, почему русские считают вас такой ценной добычей?

— Русские? Почему русские?

— Девушка Рези Нот и художник старик, называющий себя Джорджем Крафтом, — оба коммунистические агенты, — объяснил Виртанен. — Мы следим за лже-Крафтом с 1941 года. А девушке помогли въехать в страну, чтобы узнать о ее целях.

Глава 34

ALLES KAPUT...

Я сел на ящик.

— Несколькими точно подобранными словами вы уничтожили меня. Насколько богаче я был всего минуту назад. А теперь — друг, мечта и любимая — alles Kaput*.

* Все пропало (нем.).

— Друг у вас остался, — заметил Виртанен.

— Что вы хотите сказать?

— Он — второй вы. Может быть кем угодно — и всегда искренен. — Полковник улыбнулся. — А это большой дар.

— И к чему он готовил меня?

— К переезду в другую страну, откуда вас можно похитить с наименьшими международными осложнениями. Он сообщил Джонсу, кто вы и где живете, взбудоражил О'Хара и других патриотов — все для того, чтобы вырвать вас отсюда.

— Мексика — вот мечта, которой он увлек меня, — признался я.

— Знаю. В Мехико-Сити вас уже ждет другой самолет. Если вы туда полетите, то проведете на мексиканской земле не более двух минут. Вас сразу пересадят в самый современный реактивный самолет и доставят до Москвы по тарифу «все включено».

— Доктор Джонс тоже в этом замешан?

— Нет, — ответил Виртанен. — Он всецело предан вам. Доктор — один из немногих, кому вы можете доверять.

— А что от меня нужно Москве? Зачем понадобился русским замшелый обломок Второй мировой войны?

— Им надо продемонстрировать всему миру, каких крупных фашистских преступников укрывает Америка. И еще они надеются, что вы расскажете о тайных соглашениях между нацистами и Америкой во время становления нацистского режима.

— С какой стати я буду рассказывать? Чем они собираются запугать меня?

— Это просто. Проще не бывает.
— Будут пытаться?
— Может, и не будут. Просто убьют.
— Я не боюсь смерти, — заявил я.
— Убьют не вас.
— Тогда кого?
— Девушку, которую вы любите и которая любит вас, — сказал Виртанен. — Если откажетесь сотрудничать, убьют маленькую Рези Нот.

Глава 35

СОРОК РУБЛЕЙ В ПРИДАЧУ...

— В ее задачу входило влюбить меня в себя? — спросил я.

— Да, — кивнул Виртанен.

— Ей это удалось, — печально произнес я. — Впрочем, задача была не трудная.

— Простите за плохие новости.

— Это кое-что проясняет, хотя я вовсе не стремился ничего прояснять. Знаете, что она принесла в своем чемодане?

— Ваши сочинения?

— Вам и это известно? Наверно, стоило больших трудов подготовить для нее убедительный режизит! Как им удалось разыскать рукописи?

— Рукописи были не в Берлине. Они бережно хранились в Москве, — объяснил Виртанен.

— Но как они туда попали? — изумился я.

— Эти рукописи являлись главным вещественным доказательством на процессе Бодовскова.

— Кого?

— Сержант Бодовсков, военный переводчик, вошел в Берлин с одной из первых армейских частей. Ваш чемодан он обнаружил на чердаке театра и взял его как трофей.

— Ничего себе трофей!

— Трофей оказался просто кладом. Бодовсков хорошо знал немецкий. Просмотрев содержимое чемодана, переводчик понял, что в руках у него сокровище. Начал он с малого — перевел на русский несколько ваших стихотворений и послал в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Тогда он попробовал проверить аферу с пьесой.

— С какой именно?

— С «Чашей», — ответил Виртанен. — Бодовсков перевел ее на русский и на гонорары купил виллу на Черном море раньше, чем из окон Кремля убрали на случай бомбежек мешки с песком.

— Ее поставили? — поинтересовался я.

— Не просто поставили. Она продолжает идти в России, ее играют и в профессиональных, и любительских театрах. «Чаша» — это «Тетушка Чарли» современного русского театра. Вы живы, да еще как, Кэмпбелл!

— Дело мое живет, — пробормотал я.

— Что?

— Я даже не помню сюжета пьесы, — признался я.

И тогда Виртанен напомнил сюжет:

— Божественной чистоты юная девушка охраняет Священный Грааль. Она может отдать его рыцарю, но только столь же чистому, как сама. Этот

рыцарь появляется, и в его силах завоевать право на Грааль, потому что он чист, как ангел. Но в борьбе за Грааль они влюбляются друг в друга. Скажите, автор, нужно ли продолжать, или вы уже вспомнили, что будет дальше?

— У меня... такое чувство, будто пьесу на самом деле написал Бодовсков. Словно я впервые слышу об этом.

— У рыцаря и девушки рождаются греховные мысли, которые не дают им права на обладание Граалем. Героиня умоляет рыцаря бежать с Граалем, пока юноша не утратил чистоту. Тот клянется уйти, но без Грааля, предоставив девушке право охранять его. Так решает рыцарь, когда их начинают обуревать греховные желания. Но Священный Грааль внезапно исчезает. Пораженные таким неопровержимым доказательством греховности их помыслов любовники совершают то, что считают своим грехопадением, и проводят ночь, полную страсти и нежности.

На следующее утро, не сомневаясь, что их ждет геенна огненная, они обещают подарить друг другу столько радости, чтобы даже адское пламя показалось ничтожной ценой за счастье. Но тут перед ними вновь появляется Священный Грааль — значит, небеса приветствуют их любовь. После этого Грааль исчезает уже навсегда, предоставив героям навсегда отдаться своему счастью.

— Боже, и это все написал я?

— Сталин был без ума от нее, — промолвил Виртанен.

— А другие пьесы?

— Все поставлены и хорошо приняты, — успокоил Виртанен.

— Но именно «Чаша» стала триумфом Бодовскова?

— Нет, книга.

— Бодовсков написал книгу?

— Ее написали вы.

— Я ничего подобного не писал! — возразил я.

— А «Мемуары моногамного Казановы»? — напомнил Виртанен.

— Их нельзя печатать! — воскликнул я.

— Издательство в Будапеште удивилось бы, услышав такое мнение. Если не ошибаюсь, тираж книги составил примерно полмиллиона экземпляров.

— Как коммунисты позволили открыто издать такую книгу?! — поразился я.

— «Мемуары» — любопытная страница в русской истории. Они вряд ли могли получить официальное разрешение на публикацию в России, однако даже порнографические эпизоды в книге были настолько привлекательны и по-своему нравственны, что стали идеальным чтением для страны, где во всем испытывался недостаток, кроме мужчин и женщин. Поэтому будапештское издательство осмелилось напечатать ее, и никто этому почему-то не препятствовал. — Виртанен подмигнул мне. — Редкий случай, когда русский человек мог легко, без риска для себя перевезти экземпляр на родину. Для кого он вез контрабанду? Кому собирался показать эту горячую штучку? Своему сварливому старому другу — жене.

В течение многих лет книга выходила только на русском языке, — продолжил Виртанен. — Но теперь существуют переводы на венгерский, румынский, латвийский, эстонский и, удивительнее всего, опять на немецкий.

— Бодовсков указан как автор книги?

— Все знают, что ее написал Бодовсков, но на книге не указаны ни автор, ни издатель, ни иллюстратор — они как бы неизвестны.

— Иллюстратор? — в ужасе спросил я, представив рисунок, на котором мы с Хельгой резвимся нагишом.

— Четырнадцать цветных иллюстраций, — объяснил Виртанен. — На сорок рублей дороже.

Глава 36

ВСЕ, КРОМЕ ВИЗГА...

— Хоть бы иллюстраций не было, — сердито проговорил я.

— А это важно? — спросил Виртанен.

— Еще как! Рисунки искажают слова. Текст задуман без иллюстраций. С ними он обретает другой смысл.

Полковник пожал плечами:

— Боюсь, все уже вышло из-под контроля. Если только вы не собираетесь объявить войну России.

Я недовольно закрыл глаза.

— Что там говорят на Чикагской бойне, когда режут свиней?

— Не знаю, — ответил Виртанен.

— Говорят, в свинье все идет в дело, кроме визга.

— Что вы хотите сказать?

— Сейчас я тоже чувствую себя этакой разделанной свиньей, — печально произнес я, — каждой части которой нашли применение. Да и для моего визга — тоже. Та моя часть, которая жаждала сказать правду, стала заправским лжецом! Любовник во мне преобразился в порнографа. Художник — в какого-то немыслимого уродца. Даже мои драгоценные воспоминания превратились в какое-то желе из кошачьего корма и ливерной колбасы.

— Что за воспоминания?

— О Хельге, моей Хельге, — ответил я со слезами в голосе. — Рези убила их в интересах Советского Союза. Они померкли в моем воображении и никогда не станут прежними. — Я открыл глаза. — Да пошло все куда подальше! Нам, свиньям, надо испытывать гордость, что хоть как-то пригодились. Одному я рад...

— Чему?

— Рад за Бодовскова. Рад, что хоть кому-то, благодаря сделанному мной в прошлой жизни, удалось жить, как полагается художнику. Так вы говорите, его арестовали и судили?

— И расстреляли.

— За плагиат?

— За оригинальность, — ответил Виртанен. — Плагиат — довольно безобидное правонарушение. Какой вред может принести переписывание того, что было написано ранее? Настоящая оригинальность — вот это крупное преступление, часто при-

водящее к жестокому, изощренному наказанию вплоть до *coup de grace**.

— Не понимаю, — признался я.

— Ваш друг Крафт-Потапов догадался, что значительная часть того, что Бодовсков приписывает себе, написано вами. Свои соображения он донес до Москвы. Виллу Бодовскова обыскали. Волшебный чемодан с вашими рукописями нашли у него под соломой на чердаке конюшни.

— И что?

— Все из чемодана было опубликовано до последнего слова.

— Что дальше? — спросил я.

— Бодовсков стал наполнять чемодан своими «волшебными» творениями. Полиция нашла там сатиру на Красную армию в две тысячи страниц, написанную совсем другим стилем, непохожим на тот, что был в прежних произведениях Бодовскова. Вот за эту новую манеру письма его и расстреляли. Но хватит о прошлом! — вдруг резко бросил Виртанен. — Лучше поговорим о вашем будущем. Примерно через полчаса, — сказал он, глядя на часы, — в дом Джонса ворвется полиция. Дом окружен. Вам нужно успеть уйти, потому что начнется крутая заваруха.

— Куда, по-вашему, я должен уйти?

— Только не домой, — ответил полковник. — Патриоты уже разнесли ваш чердак. Окажись вы дома, они и вас бы не пожалели.

— А что будет с Рези?

* Последний, смертельный удар (*фр.*).

— Ее просто вышлют из страны. Она не совершила ничего противозаконного.

— А с Крафтом?

— Надолго задержится в тюрьме, — объяснил Виртанен. — Но это не беда. Полагаю, ему будет лучше в тюрьме, чем на родине. Преподобного Лайонела Дж.Д. Джонсона, Д.Х., Д.Б. снова посадят за нелегальное хранение оружия и за прочие преступные деяния, которые на него можно повесить. Отцу Кили ничего не грозит, и, полагаю, он вновь вернется к бродяжничеству. Как и чернокожий фюрер.

— А как же Железная гвардия?

— Железным гвардейцам белых сыновей американской конституции прочитают назидательную лекцию о незаконности в нашей стране частных армейских подразделений, убийств, хаоса, беспорядка, государственной измены и насильственного свержения правительства. Потом их отправят домой, чтобы они вправили мозги родителям, если это возможно.

Он снова взглянул на часы:

— Вам пора уходить.

— Могу я спросить, кто ваш агент в доме Джонса? Кто сунул мне в карман записку с приглашением явиться сюда?

— Спросить вы, конечно, можете, — вежливо промолвил Виртанен, — но будьте уверены — ответа не получите.

— Значит, вы мне совсем не доверяете?

— Могу ли я доверять человеку, который был таким классным шпионом?

ЭТО СТАРОЕ ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО...

Я покинул Виртанена.

Но не успел сделать несколько шагов, как понял, что единственное место, куда хочу попасть — это подвал Джонса — к любимой и лучшему другу. Теперь я знал, что они не те, кем хотели казаться, но никого ближе у меня не было.

Я вернулся тем же путем, каким улизнул, — через черный ход.

Когда я вошел в дом, Рези, отец Кили и чернокожий фюрер играли в карты. Никто не заметил моего отсутствия.

Железная гвардия белых сыновей американской конституции отрабатывала в котельной почести, отдаваемые флагу. Занятия проводил один из гвардейцев.

Джонс поднялся наверх, чтобы читать и творить. Крафт, матерый русский шпион, читал «Лайф» с портретом конструктора Вернера фон Брауна на обложке. Журнал он раскрыл на развороте с панорамой болота в эпоху рептилий. Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название мне запомнилось. И в этом не было ничего удивительного: ее название — «Старое золотое правило» — соответствовало настоящему моменту, как, собственно, и любому другому.

По моей просьбе Институт документальной информации о военных преступниках в Хайфе разыскал мне слова этой песни. Вот они:

«О, бэби, бэби, бэби,
Ты сердце мое разбила,
Говорила, что будешь верна,
И тут же мне изменила.
Я так удивлен,
Я просто сражен,
Меня дураком ты представила.
Ты с улыбкой лжешь,
Ты сердце мне жжешь,
И не веришь в “золотое правило”»*.

— Во что играете? — спросил я.

— В «Старую деву», — ответил отец Кили.

Он относился к игре очень серьезно. Ему хотелось выиграть, но я видел, что у него на руках дама пик, «старая дева».

Я мог бы показаться более человечным и привлекательным, если бы сказал, что был тогда сам не свой и чуть не потерял сознание от нереальности происходящего.

Простите.

Но такого не было.

Должен признаться в своем ужасном недостатке.

Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую на вкус или обоняю, всегда реально для меня. Я настолько во власти своих чувств, так доверяю им, что для меня нет ничего нереального. Эта железобетонная доверчивость сохраняется и в том случае, если меня бьют по голове, или я вдребезги пьян, или даже нахожусь под воздействием кокаина.

* «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...». Матф. 7:12.

Здесь, в подвале Джонса, Крафт показал мне портрет фон Брауна на обложке «Лайфа» и спросил, знал ли я его.

— Фон Брауна? — произнес я. — Этого Томаса Джефферсона космической эры? Конечно. Однажды барон танцевал с моей женой в Гамбурге на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.

— Ну и как он, хороший танцор? — поинтересовался Крафт.

— Представьте танцующего Микки-Мауса, — ответил я. — Так выглядели все крупные нацисты, если им приходилось танцевать.

— Думаете, сейчас он узнал бы вас?

— Да. Примерно месяц назад я наткнулся на него на Пятьдесят второй улице, и он окликнул меня по имени. Его поразил мой плачевный вид, и он сказал, что знает много людей в сфере культуры и вообще в информационном бизнесе и может замолвить за меня словечко.

— А вы бы с этим хорошо справились, — промолвил Крафт.

— Не уверен, что освоил бы деловую переписку.

Карточная игра закончилась. Проиграл отец Кили, так и не сумевший отделаться от жалкой «старой девы» — пиковой дамы.

— Что ж, нельзя постоянно выигрывать, — заметил Кили, словно раньше всегда выигрывал и собирался не отступать от этого принципа в будущем.

Он и чернокожий фюрер отправились наверх. Поднявшись на несколько ступенек, они каждый раз останавливались и считали до двадцати.

Рези, Крафт-Потапов и я остались одни. Рези подошла ко мне, обняла за талию и прижалась щекой к груди.

— Только представь, дорогой... — промурлыкала она.

— Что?

— Уже завтра мы будем в Мексике.

— Гм...

— Ты чем-то встревожен? — спросила она.

— Встревожен? Я?

— Ну, озабочен.

— Я кажусь тебе озабоченным? — обратился я к Крафту, продолжавшему рассматривать панораму доисторического болота.

— Нет, — ответил он.

— Я нахожусь в своем обычном состоянии, — заявил я.

Крафт указал на птеродактиля, летящего над болотом:

— Разве можно поверить, что такое чудовище умеет летать?

— А разве можно поверить, что такой старый маразматик, как я, способен завоевать сердце прекрасной девушки и иметь талантливую, преданного друга? — произнес я.

— Мне легко тебя любить, — возразила Рези. — Я всегда тебя любила.

— Я тут подумал... — начал я

— Расскажи мне, о чем ты подумал?

— А вдруг Мексика не совсем то, что нам нужно?

— Всегда можно куда-то переехать, — заметил Крафт.

— Возможно... прямо там в аэропорту Мехико-Сити, — сказал я, — имеет смысл сразу пересесть на реактивный самолет.

Крафт отложил журнал.

— И куда полетим? — поинтересовался он.

— Не знаю. Главное — чтобы быстро. Меня возбуждает скорость. Я засиделся на одном месте.

— Гм, — пробормотал Крафт.

— В Москву?

— Куда? — удивился Крафт.

— В Москву. Всегда хотел там побывать, — сказал я.

— Это что-то новенькое, — покачал головой Крафт.

— Тебе эта мысль не нравится?

— Мне... нужно подумать.

Рези попыталась отодвинуться от меня, но я крепко держал ее.

— Ты тоже об этом подумай, — сказал я ей.

— Если ты хочешь, — тихо проговорила она.

— Господи! — воскликнул я и как следует встряхнул ее. — Чем больше об этом размышляю, тем привлекательнее кажется мне эта мысль. Только бы долететь до Мехико-Сити, а там хватит и двух минут между рейсами.

Крафт встал, энергично потирая руки:

— Ты шутишь?

— Старый друг, вроде тебя, должен знать, шучу я или нет, — парировал я.

— Ты все-таки шутишь! Что тебе интересно в Москве?

— Попытаюсь найти старого друга, — ответил я.

— У тебя в Москве есть друг?

— Не знаю, в Москве ли он — просто где-то в России. Надо навести справки.

— Как его зовут? — спросил Крафт.

— Степан Бодовсков, — ответил я. — Он писатель.

— Ясно. — Крафт снова сел и раскрыл журнал.

— Ты слышал о нем?

— Нет.

— Но о полковнике Ионе Потапове, конечно, слышал? — настаивал я.

Рези выскользнула из моих рук и теперь стояла, прижавшись спиной к дальней стене.

— А ты знаешь Потапова? — обратился я к ней.

— Нет.

— А ты, Крафт?

— Не знаю, — ответил он. — Расскажи, кто он.

— Коммунистический агент. Хочет переправить нас в Мехико-Сити, где меня схватят, отвезут в Москву и будут судить.

— Нет! — воскликнула Рези.

— Заткнись! — крикнул Крафт, отбросил журнал и встал.

Он еще не успел вытащить из кармана пистолет, как я уже навел на него свой «люгер». Я заставил его бросить пистолет на пол.

— Если посмотреть на нас, — удивленно проговорил Крафт, словно являлся сторонним наблюдателем, — прямо ковбои и индейцы.

— Говард... — сказала Рези.

— Смотри — ни слова, — предупредил ее Крафт.

— Дорогой, — промолвила она со слезами в голосе, — мечта о Мексике — я думала, это правда! Мы все были бы свободны! — Рези раскрыла объятия. — Завтра, — проговорила она чуть слышно. — Завтра, — прошептала она.

Рези подбежала к Крафту, словно хотела вцепиться в него. Но в ее руках не было силы. Они безвольно опустились.

— Мы же все хотели родиться заново, — резко произнесла она. — И ты — ты тоже. Разве... ты этого не хотел? Как ты мог с таким теплом говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?

Крафт молчал. Рези повернулась ко мне:

— Да, я коммунистический агент. И он тоже. Это полковник Иона Потапов. Нам велели доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя, и любовь, которую ты мне дал, единственная моя любовь и никакой другой уже не будет. Ведь я говорила тебе, что не стану участвовать в похищении, не так ли? — обратилась она к Крафту.

— Да, — признал Крафт.

— И он согласился со мной. И тоже мечтал о Мексике, где мы все выберемся из-под колпака и проживем счастливо.

— Откуда ты узнал? — спросил меня Крафт.

— Американские агенты проследили за всей аферой, — ответил я. — Дом окружен. Вы проиграли.

Глава 38

О, СЛАДКАЯ ТАЙНА ЖИЗНИ...

Об облаве...

О Рези Нот...

О том, как она умерла...

О том, как она умерла у меня на руках в подвале дома Преподобного Лайонела Дж. Д. Джонса, Д.Х., Д.Б.

Все произошло неожиданно.

Рези так любила жизнь, была настолько создана для счастья, что мне даже в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.

Я человек достаточно опытный или в значительной мере лишенный воображения — выбирайте уж сами, и потому думаю, что молодая, хорошенькая и умная девушка не пропадет, что бы ни уготовили ей судьба и политика.

К тому же я сказал Рези, что ничего хуже депортации ей не грозит.

— Ничего хуже этого? — уточнила она.

— Ничего. Сомневаюсь, что тебе даже придется платить за билет.

— Тебе не жаль отпускать меня?

— Конечно, жаль. Но я не могу тебя удержать. В любой момент сюда ворвутся люди, чтобы арестовать тебя. Ты ведь не захочешь, чтобы я стал с ними драться?

— А ты не станешь с ними драться?

— У меня нет никаких шансов.

— А это так важно?

— Хочешь знать, почему я не готов умереть за любимую, как рыцарь в пьесе Говарда У. Кэмпбелла-младшего? — спросил я.

— Да. Почему бы нам не умереть вместе — здесь и сейчас?

Я рассмеялся:

— Рези, дорогая, у тебя вся жизнь впереди.

— У меня вся жизнь позади, и она вместилась в те немногие счастливые часы с тобой, — промолвила она.

— Такие слова я мог написать в молодости.

— Ты и написал их.

— Наивный юнец, — вздохнул я.

— Этого юнца я обожаю!

— Когда же ты полюбила его? Еще ребенком?

— Сначала ребенком, а потом — женщиной, — ответила Рези. — Когда мне передали твои рукописи и попросили изучить их, я полюбила тебя уже женщиной.

— Прости, но не могу одобрить твой литературный вкус.

— Значит, ты больше не веришь, что любовь — единственное, ради чего следует жить? — спросила Рези.

— Нет.

— Тогда скажи, ради чего следует? — произнесла она умоляющим тоном. — Если не ради любви, то ради чего? Ради этого? — Рези обвела рукой обшарпанную комнату, усилив мое ощущение, что современный мир — лавка старьевщика. — Значит, надо жить ради этого стула, этой картины, этого очага, дивана,

этой трещины в стене? — Она разрыдалась. — Прикажи мне жить ради этого, и я послушаюсь.

Рези хваталась за меня ослабевшими руками, из глаз ее лились слезы.

— Если не ради любви, то ради чего же? — шептала она. — Скажи мне.

— Рези!

— Скажи! — Силы вернулись к ней, и она с нежной порывистостью теребила мою одежду.

— Я старик, — беспомощно произнес я. Это была трусливая ложь. Я не старик.

— Хорошо, старик, скажи, для чего жить? Скажи, для чего живешь ты, чтобы и я могла жить для того же — здесь или за десять тысяч километров отсюда. Скажи, почему ты хочешь продолжать жить, чтобы я тоже этого захотела!

В этот момент ворвались налетчики. Служители закона и порядка ломились во все двери, размахивали оружием, свистели, слепили глаза фонариками, хотя света и так было достаточно. Это была небольшая армия, они шумно и весело галдели по поводу зловещих и одновременно мелодраматических символов нашего подвала. Вели себя как дети у рождественской елки.

С десятков юных, розовощеких и добропорядочных молодых человека окружили Рези, Крафт-Потапова и меня, отобрали «люгер» и, продолжая искать оружие, обращались с нами, как с тряпичными куклами.

Кое-кто вел по лестнице вниз, подталкивая в спину, Преподобного доктора Лайонела Дж.Д. Джонса, чернокожего фюрера и отца Кили. Доктор Джонс

остановился на полпути и взглянул в глаза своим мучителям.

— Все, что я делаю, должны делать вы, — проговорил он с подлинным величием.

— А что мы должны делать? — спросил агент ФБР. Очевидно, он был здесь главным.

— Защищать Республику, — ответил Джонс. — Зачем цепляться к нам? Мы лишь стараемся сделать страну сильнее! Присоединяйтесь к нам, и вместе обрушимся на тех, кто ослабляет страну.

— А кто это? — спросил агент.

— И я еще должен вам объяснять? — возмутился Джонс. — Вы не поняли этого на вашей службе? Евреи! Католики! Негры! Азиаты! Унитарии! Эмигранты, которые ничего не понимают в демократии и играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, атеистам и евреям!

— К вашему сведению, я еврей, — ледяным тоном произнес агент ФБР.

— Это только подтверждает мои слова, — сказал Джонс.

— Каким образом? — поинтересовался агент.

— Евреи захватили все! — воскликнул Джонс с улыбкой человека, которого нельзя просто так сбить с толку.

— Вы говорите также о католиках и неграх, — продолжил агент, — но, как я вижу, ваши присутствующие здесь друзья — католик и негр.

— Не вижу ничего удивительного.

— Вы не испытываете к ним ненависти?

— Разумеется, нет. Мы все верим в одну и ту же истину.

— В какую же?

— Что страна, которой мы когда-то гордились, попала в руки не тех людей, — заявил Джонс. Он кивнул со знанием дела, а за ним кивнули отец Ки-ли и чернокожий фюрер. — А для того, чтобы она вновь выбралась на правильный путь, кое-кому надо свернуть шею.

Я никогда не видел такой впечатляющей демонстрации тоталитарного мышления, которую можно уподобить системе шестеренок, чьи зубцы неровно подпилены. Уродливая мыслящая машина, приводимая в движение обычной или необычной энергией, может вращаться так же нелепо, шумно и бессмысленно, как испорченные часы с кукушкой.

Агент ФБР сделал неправильный вывод, что на шестеренках в мозгу Джонса нет зубцов.

— Вы просто сумасшедший, — произнес он.

Но Джонс не был законченным безумцем. В классическом тоталитарном мышлении есть одна пугающая черта — не все шестеренки изуродованы, некоторые зубцы прекрасно выпилены и четко работают.

Так и испорченные часы с кукушкой — они могут исправно идти восемь минут и тридцать три секунды, потом скакнуть вперед на четырнадцать минут, шесть секунд идти нормально, затем опять проскочить две секунды, после чего два часа и одну секунду работать идеально, а вскоре махнуть сразу на год вперед.

Недостающие зубцы — простые, очевидные истины, они в большинстве случаев доступны для по-

нимания даже десятилетнему ребенку. Умышленно отпиленные зубы — сознательно скрытая информация.

В этом секрет мирного сосуществования таких разных людей, как Джонс, отец Кили, вице-бундесфюрер Крапптауер и чернокожий фюрер...

В этом секрет, как мог мой тесть быть одновременно черствым по отношению к прислуживающим ему рабыням и питать любовь к синей вазе...

В этом секрет, как Рудольф Хесс, комендант Освенцима, мог передавать по радио классическую музыку, а потом вызывать уборщиков трупов...

В этом секрет, как нацистская Германия не понимала серьезной разницы между цивилизацией и безумием...

Я не способен яснее объяснить существование целых легионов, целых наций сумасшедших, которых я повидал в свое время. И моя попытка механистического объяснения, наверное, идет от наследственности. От отца, чьим сыном я был. И есть. Ведь если остановиться и подумать, что случается не часто, то я, в конце концов, сын инженера.

Поскольку больше никому, похвалю себя сам, сказав, что никогда не прикасался ни к одному зубцу своей мыслящей машины, — какая есть, такая есть. Зубцов не хватает, бог знает почему, без некоторых я родился, и они уже никогда не вырастут. А другие сточились под влиянием исторических перипетий...

Но сознательно я не повредил ни одного зубца на шестеренке своей мыслящей машины. Никогда

я не говорил себе: «Без этого факта я могу обойтись».

Говард У. Кэмпбелл-младший хвалит себя. Есть еще порох в пороховницах! А где есть жизнь...

Там есть жизнь.

Глава 39

РЕЗИ НОТ СХОДИТ СО СЦЕНЫ...

— Единственное, о чем я сожалею, — сказал Джонс главному агенту ФБР, — что у меня нет второй жизни, я и отдал бы ее родной стране.

— Мы постараемся, чтобы у вас появились и другие поводы для сожаления, — произнес агент.

Из котельной стали выталкивать юнцов из Железной гвардии белых сыновей американской конституции. Некоторые гвардейцы были в истерике. Им предстояло расплатиться за паранойю родителей. Их действительно преследовали! Один юноша сжимал в руке древко американского флага, отчаянно размахивал им, задевая орлом трубы под потолком.

— Это флаг вашей страны! — кричал он.

— Нам это известно, — кивнул главный агент. — Отберите у него флаг.

— Этот день войдет в историю! — воскликнул Джонс.

— Каждый день входит в историю, — парировал агент. — А теперь скажите, кто из вас называет себя Джорджем Крафтом?

Крафт поднял руку. Вид у него был веселый.

— Это и вашей страны флаг? — насмешливо спросил главный агент.

— Нужно рассмотреть его внимательнее, — произнес Крафт.

— Интересно, что чувствуешь, когда долгая и успешная карьера подходит к концу? — поинтересовался агент.

— Все карьеры когда-нибудь заканчиваются. Мне это давно известно, — ответил Крафт.

— О вашей жизни могут снять фильм, — усмехнулся агент.

— Не исключено. Но я запрошу большие деньги за права.

— Есть только один актер, который мог бы хорошо сыграть вашу роль. Но его трудно заполучить.

— Да? Кто же он? — спросил Крафт.

— Чарли Чаплин. Кто еще хорошо сыграет шпиона, который пил, не просыхая, с 1941 по 1948-й? Кто мог бы сыграть русского шпиона, чья агентура состояла из американских агентов?

Светская маска мгновенно слетела с Крафта.

— Это ложь! — воскликнул он.

— Спросите у ваших руководителей, если не верите.

— Им это известно?

— Наконец стало известно. По прибытии домой вас ждала бы пуля в затылок.

— Тогда зачем меня спасли?

— Можете назвать это сентиментальностью, — ответил главный агент.

Крафт немного подумал и укрылся за спасительной шизофренией.

— Впрочем, ничего из сказанного не имеет ко мне отношения, — произнес он, вновь вернув светскую маску.

— Почему же? — удивился главный агент.

— Потому что я художник. Это мое основное занятие.

— Не забудьте взять с собой в тюрьму палитру, — посоветовал агент и переключил внимание на Рези.

— Вы, как я понимаю, Рези Нот?

— Да, — кивнула она.

— Вы получили удовольствие от своего недолгого пребывания в нашей стране?

— Что я должна ответить?

— Да что хотите. Если у вас есть жалобы, передам их в надлежащие инстанции. Мы собираемся увеличить приток туристов из Европы.

— Какие забавные вещи вы говорите, — произнесла Рези без тени улыбки. — Жаль, не могу ответить вам в том же духе. Сейчас для меня не самое лучшее время.

— Сожалею, — пренебрежительно промолвил агент.

— Нет, вы не сожалеете. Жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, — это любовь к мужчине, но он не любит меня. Он так измучен, что больше не может любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. В общем, ничего забавного я сказать не могу. Зато могу показать кое-что интересное.

Казалось, Рези лишь коснулась пальчиком губ. Однако на самом деле она положила в рот капсулу с цианистым калием.

— Я покажу вам женщину, умирающую за любовь, — были ее последние слова.

Через мгновение Рези замертво упала мне на руки.

Глава 40

СНОВА СВОБОДА...

Меня арестовали вместе со всеми, кто находился в доме. Через час освободили — думаю, благодаря вмешательству Моей Волшебной Крестной. До освобождения меня удерживали в каком-то офисе непонятного назначения в Эмпаир-стейт-билдинг.

Агент спустился со мной в лифте и вывел на улицу, вернув в жизненный поток. Я сделал несколько робких шагов и остановился. Застыл на месте.

Я застыл не из чувства вины. Я научился не испытывать этого чувства.

Я застыл не от страшного сознания утраты. Я научился ничего не желать.

Я застыл не от отвращения к смерти. Я приучил себя относиться к смерти как к другу.

Я застыл не от разрывающей сердце ненависти к несправедливости. Я приучил себя к мысли, что справедливые награды и наказания так же редко встречаются, как алмазные диадемы в сточной канаве.

Я застыл не от мысли, что меня никто не любит. Я научился жить без любви.

Я застыл не от мысли, что Бог жесток ко мне. Я приучил себя ничего от Него не ждать.

Я застыл от сознания, что мне некуда идти. Все эти мертвые и пустые годы только любопытство заставляло меня двигаться.

Но теперь и оно померкло. Не знаю, как долго я стоял в оцепенении. Чтобы начать двигаться снова, кто-то другой должен был направить меня, выведя из ступора.

И такой человек нашелся. Полицейский, наблюдавший за мной, подошел и спросил:

— С вами все в порядке?

— Да, — ответил я.

— Вы так долго здесь стоите.

— Я знаю.

— Вы кого-то ждете?

— Нет.

— Тогда вам лучше идти.

— Да, сэр, — кивнул я.

И я пошел по улице.

Глава 41

ХИМИКАТЫ...

От Эмпаир-стейт-билдинг я двинулся по направлению к центру. Дошел пешком до своего старого дома в Гринич-Виллидж, где жили мы с Ре-зи и Крафтом. Всю дорогу я курил и представлял себя светлячком. Мне встречалось много таких же светлячков. Порой я подавал им приветственный красный сигнал, иногда они — мне. Постепенно за моей спиной затихал шум города, подобный мор-

скому прибору, и меркло его сияние, сродни северному.

Час был поздний. Теперь я ловил сигналы своих друзей светлячков из камер на верхних этажах. Где-то взывала, словно наемная плакальщица, сирена. В моем доме светилось только одно окно на втором этаже, в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна. Он тоже был светлячком. Он подал мне сигнал, я ответил ему.

Черная кошка перебежала мне дорогу перед дверью.

— Это ты, Ральф? — спросила она.

В подъезде тоже было темно. Выключатель не работал. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны. При дрожащем свете спички и тусклом бесформенном окружении покореженные дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сгоревшем городе.

Свет моей спички привлек внимание полицейского. Он был молод и изнывал от тоски.

— Что вы здесь делаете? — спросил он.

— Живу, — ответил я. — Здесь мой дом.

— Предъявите документы, — попросил полицейский.

Я показал ему то, что было при мне, и добавил, что живу в мансарде.

— Так это вы виновник всех этих безобразий? — поинтересовался он. Я не услышал в его словах упрека. Ему было просто любопытно.

— Если вы так считаете, — произнес я.

— Странно, что вы вернулись, — заметил он.

— Могу уйти.

— Я не приказываю вам уйти. Просто удивляюсь, что вы вернулись.

— Значит, мне можно подняться наверх?

— Вы здесь живете. Никто не может запретить вам вернуться домой. — Он пожал плечами.

— Спасибо, — кивнул я.

— Не надо меня благодарить. У нас свободная страна, и все находятся под одинаковой защитой. — Полицейский говорил доброжелательно. Он преподал мне урок гражданского права.

— Вот так и нужно управлять страной, — промолвил я.

— Вероятно, вы подшучиваете надо мной, но это правда, — отозвался он.

— Никаких шуток! Клянусь, я серьезен как никогда. — Мое простое объяснение успокоило полицейского

— Моего отца убили во вторник, — сказал он.

— Сочувствую.

— Наверное, много хороших людей с обеих сторон полегло на войне, — добавил полицейский.

— Так оно и есть.

— Думаете, еще одна будет?

— Вы о чем?

— О войне.

— Будет.

— Я тоже так считаю. Но ведь это сущий ад!

— Вы нашли точное слово, — согласился я.

— А что можно сделать в одиночку?

— Каждый может внести свою лепту. Вот и все. Полицейский тяжело вздохнул:

- И все это накапливается. Люди не понимают. — Он покачал головой. — Что им делать?
- Жить по закону.
- Добрая половина из них и этого не хочет. То, что я вижу.. то, что слышу от людей... Иногда просто падаю духом.
- Такое с каждым время от времени случается.
- Мне кажется, во многом виноваты химикаты, — предположил он.
- В чем именно?
- В приступах уныния, — объяснил полицейский. — Разве не доказано, что такое возникает из-за химических препаратов?
- Не знаю, — признался я.
- Я об этом читал. Это доказано.
- Очень интересно.
- Человеку дают определенные химические препараты, и тот сходит с ума. Вот над чем они работают. Видимо, все дело в этом.
- Вероятно, — кивнул я.
- А поскольку в разных странах потребляют разные химические вещества, то и люди поступают по-разному в разное время, — предположил он.
- Никогда над этим не задумывался, — признался я.
- Иначе как объяснишь подобную перемену в людях? Мои брат был в Японии, и, по его словам, японцы чудесные люди. Но именно японец убил нашего отца! Подумайте над этим!
- Хорошо, — пообещал я.
- Похоже, тут не обошлось без химии.
- Понимаю, что вы имеете в виду.

— Подумайте над этим на досуге.

— Хорошо, — повторил я.

— Я постоянно размышляю об этих химикатах. Порой мне хочется вернуться в школу и выяснить, что там известно ученым про все химические препараты.

— Видимо, вам следует это сделать.

— Может, когда о химикатах узнают больше, — с надеждой произнес он, — тогда не будет ни полицейских, ни войн, ни психушек, ни разводов, ни пьяниц, ни малолетних преступников, ни падших женщин.

— Хорошо бы!

— Это возможно.

— Я верю вам, — сказал я.

— У них сейчас есть все возможности, надо только хорошенько взяться за дело — достать деньги, подобрать смысленных людей и, засучив рукава, приняться за работу. Разработать четкую программу.

— Я целиком — за.

— Ведь некоторые женщины раз в месяц просто съезжают с катушек, — продолжил полицейский. — Выделяются какие-то химические вещества, и женщина просто не может вести себя по-другому. Иногда такое случается после родов, и женщина может даже убить своего ребенка. На прошлой неделе подобное произошло недалеко отсюда.

— Какой ужас! Даже не слышал...

— Самая противоестественная вещь для женщины — убить свое дитя, но она это сделала. И всему виной химическая дрянь в крови — иначе она никогда бы так не поступила.

— Гм, — хмыкнул я.

— Вам интересно, что случилось с миром? Ответ у вас перед носом.

Глава 42

НИ ГОЛУБЯ, НИ ЗАВЕТА...

Я поднялся наверх в свою крысиную мансарду по дубовым ступеням в оштукатуренной спирали лестничного колодца.

Если прежде при входе в подъезд тебя встречал унылый запах кухни, угольной пыли и канализации, то теперь воздух здесь был свеж и приятен. Окна на моем чердаке были разбиты. Все теплые запахи человеческого жилья выветрились через лестничную клетку и разбитые окна, словно через вентиляционную трубу.

Воздух был чист.

Мне было знакомо ощущение свежести после внезапно развернутого старого дома, из которого изгнали зараженную атмосферу. Я часто встречался с этим в Берлине. Наше с Хельгой жилище бомбили дважды. Оба раза оставалась целой лестница.

Однажды, вскарабкавшись по лестнице, мы увидели свою квартиру таинственным образом сохранившуюся — правда, без крыши и окон. В другой раз лестница обрывалась на два этажа ниже нашей квартиры, и мы стояли обдуваемые свежим, холодным воздухом.

Оказываясь на разбитой лестнице под открытым небом, мы переживали незабываемое ощущение

ние. Оно, естественно, продолжалось недолго, потому что мы, как все люди, любили домашний очаг и нуждались в нем. Но минуту-другую мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат.

Потрясающее ощущение!

Но затем снова взывали сирены, и становилось ясно, что мы обычные люди без голубя и без завета, а потоп не закончился, а только начинается.

Однажды мы с Хельгой спустились с разбитой, выходящей в открытое небо лестницы вниз, в бомбоубежище глубоко под землей, а над нами рвались одна за другой бомбы. Они рвались, рвались и рвались, и, казалось, этому не будет конца.

А убежище было узким и длинным, как железнодорожный вагон, и переполнено людьми.

На скамье напротив нас с Хельгой сидели муж, жена и трое их детей. Женщина начала причитать, обращаясь к потолку, бомбам, самолетам, небу и к самому Господу. Она заговорила тихо, не обращаясь ни к кому в убежище:

— Ну, хорошо, вот мы здесь. Сидим тут внизу. Нам слышно Тебя. Мы слышим, как Ты суров. — Женщина вдруг резко повысила голос: — Боже милостивый, как Ты суров!

Муж — штатский, с изможденным лицом и повязкой на глазу, со значком «Союза нацистских учителей» на лацкане пиджака — успокаивал ее, боясь, как бы она не вызвала подозрений. Но жена его не слышала.

— Чего Ты хочешь от нас? — обращалась она

к потолку и ко всему, что находилось выше. — Мы сделаем все, чего бы Ты ни потребовал! Только скажи!

Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась известка. Испуганная женщина с криком вскочила, ее муж тоже.

— Сдаемся! Мы сдаемся! — завопила она. На лице ее отразилось облегчение и счастье. Она засмеялась. — Довольно! Все кончено. — Женщина повернулась к детям, чтобы обрадовать их.

Кривой учитель вырубил ее ударом по голове. Потом усадил жену на скамью, привалил к стене и направился к находящемуся здесь высокопоставленному военному — вице-адмиралу, как оказалось.

— Она женщина... истеричка... они все теперь истерички... она совсем не то имела в виду... она награждена золотым «Орденом материнства», — оправдывался он перед вице-адмиралом.

Тот был не озадачен и не раздражен. Он чувствовал себя в своей тарелке.

— Все в порядке, — произнес он с неподражаемым достоинством, словно отпускал мужчине грехи. — Ее можно понять. Не волнуйтесь.

Учитель был в восхищении от системы, которая может прощать слабости.

— Хайль Гитлер, — сказал он, отступая назад и кланяясь.

— Хайль Гитлер! — ответил вице-адмирал.

Учитель стал приводить жену в чувство. У него были для нее хорошие новости — ее простили, и все в убежище это поняли.

Бомбы рвались и рвались над головой, но трое детишек учителя и глазом не моргнули. Может, и никогда не моргнут, подумал я. Да и я тоже.

Никогда.

Глава 43

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ И ДРАКОН...

Сорванная с петель дверь моей крысиной мансарды отсутствовала. Служитель закрыл дыру моей походной палаткой, а поверх нее прибил крест-накрест доски. В свете спички засверкала сделанная золотой краской для батареи надпись: «Внутри нет никого и ничего».

Однако, несмотря на предупреждение, кто-то отодрал нижний угол палатки, и теперь на мой крысиный чердак можно было пробраться через треугольную дыру, вроде входа в вигвам.

Так я и сделал.

Выключатель в мансарде, естественно, не работал. Тусклый свет проникал внутрь только сквозь пару неразбитых стекол. Разбитые — забили, чем попало — бумагой, тряпьем, одеждой и одеялами. Но ночной ветер все же со свистом врывался внутрь. Свет на чердаке был какой-то синеватый.

Я выглянул на улицу через заднее окно у плиты, посмотрел на уменьшенный перспективой прелестный садик внизу — райский уголок, образованный примыкающими двориками. Никто в нем сейчас не играл. И никто не кричал того, что мне больше всего хотелось бы слышать: «Раз, два, три — нет игры!»

В темноте мансарды раздался шорох, какое-то шевеление. Я подумал, что это крыса, но ошибся.

Звуки исходили от Бернарда О'Хара, взявшего меня в плен много лет назад. Это подавал признаки жизни мой «злой гений» — человек, видевший смысл жизни в травле и преследовании меня.

Я не хочу опорочить О'Хара, сравнивая его повадки с крысиными. Он не вызывает у меня образа крысы, хотя его действия в отношении меня так же навязчиво неуместны, как яростная возня крыс в углах моего жилища. По существу я не знаю О'Хара, да и знать не хочу. Тот факт, что именно он арестовал меня в Германии, мало для меня значит. Я не видел в нем карающего мяча правосудия. Моя игра закончилась задолго до ареста. Для меня О'Хара был рядовым мусорщиком, выметающим сор, развеянный после битв на дорогах войны.

У О'Хара был иной взгляд на наши отношения. В состоянии опьянения он представлял себя святым Георгием, а меня — драконом.

Когда я разглядел его в темной мансарде, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма Американского Легиона. Рядом стояла бутылка виски. Было понятно, что он давно ждет меня, коротая время за выпивкой и куревом. О'Хара уже напился, но военная форма при этом не пострадала. Галстук не съехал, фуражка надета под нужным углом. Он придавал большое значение форме и, видимо, считал, что выправка для меня тоже много значит.

— Знаешь, кто я такой? — спросил он.

— Да, — ответил я.

— Я уже не так молод, как раньше, — продолжил О'Хара. — Здорово изменился, правда?

— Нет.

Раньше я писал, что он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде находился мужчина с одутловатым, бледным, нездоровым лицом и воспаленными глазами. Теперь в нем было больше от койота, чем от волка. Послевоенные годы сложились для него не слишком удачно.

— Ждал меня? — спросил он.

— Вы писали, что можете прийти, — осторожно произнес я.

Следовало вести себя предельно вежливо. Я ожидал нападения. Факт, что О'Хара был в полной военной форме и значительно уступал мне в сложении, наводил на мысль, что он мог принести с собою оружие — скорее всего пистолет.

О'Хара, пошатываясь, встал с ведра, и сразу стало понятно, что он здорово надрался. В довершение всего мой преследователь еще и ведро свалил. Он широко улыбался:

— Ну что, являлся я тебе в страшных снах, Кэмпбелл?

— Часто. — Это была, конечно, ложь.

— Наверное, ты удивлен, что я никого с собой не привел?

— Да. Удивлен.

— Многие рвались сюда, — добавил О'Хара. — Целая компания хотела ехать со мной из Бостона. А сегодня, когда я зашел после приезда в один из нью-йоркских баров и поговорил там по душам кое с кем, они тоже решили пойти со мной.

— Хм, — отозвался я.

— А знаешь, что я им сказал?

— Нет.

— Простите, парни, но это касается только нас с Кэмпбеллом. Нам надо встретиться вдвоем, лицом к лицу.

— Хм.

— Эта встреча давно предопределена, заявил я им. Было решено где-то выше, чтобы мы с Говардом Кэмпбеллом встретились через много лет. А ты не чувствуешь того же?

— Чего именно?

— Что это судьба? Нам предназначено встретиться именно здесь, на чердаке, и, как бы мы ни старались, нам не удалось бы этого избежать.

— Возможно, — кивнул я.

— Только решишь, что твоя жизнь бессмысленна, — произнес О'Хара, — как вдруг становится ясно: нет, цель-то у тебя есть.

— Понимаю, что вы имеете в виду.

О'Хара качнулся, но удержался на ногах.

— Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь? — спросил он.

— Нет.

— Работаю диспетчером по перевозке жидкого заварного крема.

— Кем?

— Машины развозят эту продукцию на фабрики, пляжи, стадионы — в те места, где собирается народ. — Казалось, О'Хара на время забыл обо мне, погрузившись в мысли о миссии грузовиков, которых отправлял в поездки. — Машины, изготов-

ливающие крем, находятся прямо в грузовиках, — пробормотал он. — Всего два сорта — шоколадный и ванильный. — Теперь настроение у него было сходное с тем, в каком Рези рассказывала о своей тупой и бессмысленной работе на сигаретной фабрике в Дрездене.

— После окончания войны, — продолжил О'Хара, — я не предполагал, что через пятнадцать лет буду всего лишь диспетчером на рейсах грузовиков с замороженным кремом.

— Все мы пережили разочарования, — заметил я.

Он никак не отреагировал на мою слабую попытку найти общий язык, сосредоточившись полностью на себе.

— Я хотел стать врачом, адвокатом, писателем, архитектором, инженером, журналистом. Мог стать кем угодно. Но я женился, и жена начала рожать детей как заведенная, и я на паях с приятелем открыл заведение по доставке пеленок на дом, но приятель удрал, прихватив все деньги, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, но и этот бизнес прогорел, и тогда начался замороженный крем. И все это время жена не прекращала рожать детей, а чертова машина постоянно ломалась, кредиторы налетали, как мухи, а термиты каждую весну и осень разъедали плинтусы.

— Мне жаль, — промолвил я.

— И тогда я спросил себя: почему все на меня навалилось? Как к этому приноровиться? Какой в этом смысл?

— Хорошие вопросы, — осторожно произнес я, медленно продвигаясь к тяжелым каминным шипцам.

— А потом кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты жив. — Он словно заново переживал то острое возбуждение, какое охватило его после прочтения статьи. — И тут меня осенило: я понял, зачем живу и что мне нужно делать.

О'Хара сделал шаг ко мне, его глаза расширились.

— Вот я и пришел к тебе, Кэмпбелл, пришел из прошлого.

— Рад встрече, — кивнул я.

— А знаешь, Кэмпбелл, кто ты для меня?

— Нет.

— Зло в чистом виде. Воплощение чистого зла.

— Благодарю, — отозвался я.

— Что ж, ты прав. Это своего рода комплимент. Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее — часто и того, и другого поровну. Но ты — зло в чистом виде. Даже если в тебе и найдется что-то хорошее, все равно ты сущий дьявол.

— Может, я и есть дьявол? — предположил я.

— Мне это приходило в голову.

— И что же вы собираетесь со мной сделать? — поинтересовался я.

— Порвать тебя на куски, — произнес О'Хара, раскачиваясь и поводя плечами. — Когда я узнал, что ты жив, мне стала ясна моя цель. Пути назад нет. Все должно закончиться именно так.

— Не понимаю, почему?

— Тогда, клянусь Богом, я объясню тебе, почему. Ей-богу, объясню. Я и родился для того, чтобы разорвать тебя на куски — прямо здесь и сейчас.

О'Хара обозвал меня трусливым хмырем. Еще нацистом. И под конец припечатал самым оскорбительным словосочетанием в английском языке.

И тут я сломал каминными щипцами его правую руку. Это был единственный акт насилия, совершенный мной за всю мою, кажущуюся теперь очень долгой, жизнь. Я встретился один на один с О'Хара и победил его. Сделать это было нетрудно. О'Хара был настолько подогрет алкоголем и фантазиями о торжестве добра над злом, что не ожидал сопротивления.

Когда он понял, что побит и дракон собирается дать святому Георгию хорошую взбучку, то удивился.

— Так вот какую игру ты затеял...

Но тут боль от множественного перелома сломила его дух, и из его глаз покатились слезы.

— Пошел вон! — бросил я. — А то я сломаю тебе другую руку, а заодно сверну шею. — Приложив щипцы к его виску, я потребовал отдать мне пистолет или нож, или что он там принес с собой.

О'Хара лишь покачал головой. От боли он не мог говорить.

— У тебя нет оружия?

— Честная борьба, — с трудом произнес он. — Честная.

Я похлопал его по карманам, но оружия не было. Святой Георгий собирался разорвать дракона голыми руками!

— Эх ты, глупый, ничтожный, пьяный, одно-рукий сукин сын! — сказал я и, оторвав палатку от дверного косяка, выбил доски и вышвырнул О'Хара на лестницу.

Перила удержали его, и он с ужасом уставился в лестничный колодец, спираль которого, тянувшаяся вниз, могла привести его к верной смерти.

— Я не твоя судьба и не дьявол! — заявил я. — Только взгляни на себя! Пришел убить зло голыми руками, а теперь бесславно убираешься прочь, как человек, сбитый автобусом на линии Грейхаунд! Вот и вся твоя слава! А большего человек в битве с чистым злом не заслуживает.

Есть много важных причин для драки, — продолжил я, — но безграничная ненависть, когда кажется, что сам Господь Бог ее благословляет, к ним не относится. Где искать зло? Оно в каждом человеке, который полностью отдался ненависти и думает, что Бог на его стороне. Оно в каждом человеке, кто находит любое уродство привлекательным. Оно в каждом придурке, который с радостью приносит другим боль, страдания и развязывает войны.

Не знаю уж отчего — то ли от моих слов, то ли от унижения, а может, от спиртного или от болевого шока, но моего врага вырвало. Его блевотина низверглась с четвертого этажа в лестничный колодец.

— А теперь убери за собой! — велел я.

О'Хара посмотрел на меня, его глаза по-прежнему горели неприкрытой ненавистью.

— Я еще доберусь до тебя, браток, — пригрозил он.

— Не исключено, — кивнул я. — Но это ничего не изменит. Ты все равно останешься банкротом,

будешь развозить мороженный крем, строгать детишек, бороться с термитами и нищетой. А если уж хочешь вступить в войско Господа Бога, запишись в Армию спасения.

И О'Хара ушел восвояси.

Глава 44

КЭМ-БУУ...

Для заключенных обычное дело, проснувшись, удивляться, как они оказались в тюрьме. На этот случай я запасся объяснением, что нахожусь в тюрьме, поскольку не смог заставить себя перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хара в подъезде у лестницы.

Я покинул мансарду вскоре после ухода О'Хара. Больше меня ничего здесь не удерживало. Случайно я прихватил с собой сувенир. На пороге я обо что-то споткнулся. То, что поднял, оказалось пешкой, одной из тех, что я вырезал из палки от швабры.

Я положил пешку в карман. Она и сейчас со мной. Когда засовывал ее в карман, до меня донеслась вонь, свидетельствующая о содеянном О'Хара нарушении общественного порядка.

По мере того, как я спускался, вонь усиливалась.

Невыносимый запах заставил меня остановиться у квартиры молодого доктора Абрахама Эпштейна, который провел детство в Освенциме. Еще не осознавая, что делаю, я уже стучал в его дверь. Доктор открыл дверь в пижаме, накинутом поверх нее

купальном халате и босиком. Он удивился, увидев меня.

— Что случилось? — спросил доктор.

— Можно войти?

— У вас проблема со здоровьем? — Он не снимал цепочки с двери.

— Нет, — признался я. — Проблема личная, политическая.

— Это не может подождать?

— Нет.

— Хотя наметните, в чем ваша проблема?

— Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом.

— Что-что?

— Я хочу, чтобы меня судили за преступления против человечности, — объяснил я. — Хочу попасть в Израиль.

— А при чем тут я?

— Я подумал, что вы можете знать кого-то, кто этим бы заинтересовался.

— Но я не израильтянин. Я американец, — заявил доктор. — Завтра вы найдете нужных людей.

— Я хотел бы сдать узнику Освенцима.

Это вывело его из себя.

— Тогда ищите того, кто день и ночь думает об Освенциме! Есть много таких, кому больше не о чем думать. Я об Освенциме никогда не вспоминаю. — И он захлопнул дверь.

Я оцепенел, лишившись единственного исхода, который придумал для себя. Эпштейн был прав: утром я смогу найти израильтян. Но как провести ночь? У меня не было сил даже пошевелиться.

За дверью Эпштейн общался с матерью. Разговор шел на немецком. Я слышал лишь обрывки фраз. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло. Больше всего меня поразило, как в их интерпретации звучала моя фамилия. «Кэм-буу» повторяли они снова и снова. Это означало «Кэмпбелл».

Я был злом в чистом виде, злом, повлиявшим на миллионы людей, отвратительным созданием, которое хорошие люди хотели уничтожить и закопать в землю.

Кэм-буу...

Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэм-буу и его непонятных замыслов, что подошла к двери. Уверен, она не ожидала увидеть самого Кэм-буу, так как испытала бы отвращение от одной мысли, что он там был и вдыхал тот же воздух.

Когда мать открывала дверь, сын стоял сзади и умолял этого не делать. При виде самого Кэм-буу, находящегося в каталепсии, она едва не потеряла сознание. Эпштейн отодвинул ее и вышел с таким видом, словно собирался поколотить меня.

— Что вы здесь делаете? — грозно произнес он. — Катитесь отсюда к чертовой матери!

Но я не двигался, не отвечал, не моргал и почти не дышал, и тогда доктор сообразил, что с медицинской стороны со мной отнюдь не все в порядке.

— О, Боже! — простонал он.

Я вошел за ним в квартиру покорным роботом.

Эпштейн отвел меня в кухню и усадил за белый стол.

— Вы слышите меня? — спросил он.

— Да.

— Вы знаете, кто я и где вы находитесь?

— Да.

— Такое с вами раньше случалось?

— Нет.

— Вам нужно обратиться к психиатру. Я не психиатр.

— Я уже объяснил вам, что мне нужно. Позовите кого-нибудь, только не психиатра. Позовите того, кто хочет предать меня суду.

Эпштейн и его мать долго спорили, как со мной поступить. Мать сразу поняла, что болен не столько я, сколько болен весь мой мир.

— Ты не впервые видишь такие глаза, — обратилась она к сыну по-немецки. — Не впервые видишь человека, который не может сдвинуться с места, пока ему не покажут, куда идти, который ждет, чтобы ему сказали, что делать дальше, который сделает все, что ему прикажут. В Освенциме ты видел тысячи подобных глаз.

— Не помню, — сухо промолвил Эпштейн.

— Пусть так. Тогда позволь мне вспомнить. Я помню все и всегда. И как ничего не забывший человек говорю тебе: ему надо дать то, что он просит. Позови кого-нибудь.

— Кого я позову? Я не сионист. Я антисионист. Да и антисионистом меня не назовешь. Я просто никогда ни о чем таком не думаю. Я врач. И не знаю никого из тех, кто жаждет мести. К таким людям я испытываю презрение. Уходите. Вы пришли не по адресу.

— Позови кого-нибудь! — настаивала мать.

— Ты все еще хочешь возмездия? — спросил Эпштейн.

— Да, — ответила она.

Доктор приблизился ко мне:

— А вы хотите, чтобы вас наказали?

— Я хочу, чтобы меня судили, — ответил я.

— Это все игра. — Он был в ярости от нас обоих. — Она ни к чему не приведет.

— Позови кого-нибудь, — повторила мать.

Эпштейн поднял руки:

— Хорошо! Хорошо! Я позвоню Сэму. Скажу, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда об этом мечтал.

Я так и не узнал фамилии Сэма. Эпштейн звонил ему из гостиной, а я и старуха мать остались в кухне. Его мать сидела за столом и внимательно смотрела на меня, положив руку на стол. Она вглядывалась в мое лицо с любопытством и удовлетворением.

— Они вывернули все лампочки, — сообщила она по-немецки.

— Кто? — не понял я.

— Те люди, что вломились в вашу квартиру, — они вывернули все лампочки на лестнице.

— Ясно.

— В Германии было то же самое.

— Что?

— Когда приходили за кем-то из гестапо или СС, их люди поступали так же.

— Не понимаю.

— Приходили и другие, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, — продолжила

мать. — Но и это сопровождалось выкручиванием лампочек. — Она покачала головой. — Странно — кому это надо?

Доктор Эпштейн вернулся в кухню, потирая руки.

— Все в порядке, — сообщил он. — Скоро сюда придут три героя — портной, часовщик и педиатр, все они мечтают участвовать в этой израильской операции.

— Спасибо, — кивнул я.

Эта троица явилась за мной через двадцать минут. У них не было оружия, не было официального статуса израильских агентов, в общем, ничего. Только моя позорная известность и страстное желание сдаться кому-нибудь позволили им задержать меня.

Этот арест позволил мне провести остаток ночи в постели — как оказалось, в квартире портного. На следующее утро, с моего согласия, эти трое передали меня представителям Израиля.

Подойдя к квартире доктора Эпштейна, они громко забарабанили в дверь. Услышав стук, я сразу успокоился и почувствовал себя счастливым.

— Теперь все в порядке? — спросил меня доктор Эпштейн, прежде чем впустить их.

— Да. Спасибо, доктор, — ответил я.

— Вы по-прежнему хотите ехать?

— Да.

— Ему нужно ехать, — сказала его мать и потянулась ко мне через стол. Она негромко пропела по-немецки что-то, напомнившее мне песенку из моего счастливого детства.

Но то, что она пропела, было командой, той, которую она годами много раз за день слышала по громкоговорителю в Освенциме.

— *Leichentrager zu Wache*, — пела мать.

Прекрасный язык, не так ли? А в переводе? Уборщики трупов — на работу!

Вот что пропела мне старуха.

Глава 45

ЧЕРЕПАХА И ЗАЯЦ...

И вот я здесь, в Израиле, по собственной воле, хотя сижу в камере, и стерегут меня вооруженные охранники.

Моя история рассказана ко времени: ведь завтра меня будут судить. Заяц истории в очередной раз обогнал черепаху искусства. Для сочинительства больше не будет времени. А приключения мои продолжатся.

Многие свидетельствуют против меня, и никто — за.

Как мне сказали, процесс начнется с воспроизведения самых отвратительных из моих радиопередач, и самым безжалостным свидетелем обвинения стану я сам.

Бернард О'Хара приехал на процесс за собственный счет и уже успел надоесть обвинителю горячечной бессвязностью своих рассказов.

Не уступает ему и Хайнц Шильдкнехт, мой давний друг и партнер по настольному теннису, у которого я украл мотоцикл. Мой адвокат объяснил,

что Хайнц питает ко мне ненависть, и, что самое удивительное, он свидетель обвинения. Откуда такое доверие к Хайнцу, который работал за соседним со мной столом в Министерстве народного просвещения и пропаганды?

Сюрприз: Хайнц — еврей, во время войны член антифашистской подпольной организации, а с окончания войны по настоящее время — израильский агент. И он может это доказать. Bravo, Хайнц!

Доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д.Х., Д.Б. и Иона Потапов, он же Джордж Крафт, не могут приехать на суд, поскольку сидят в федеральной тюрьме Соединенных Штатов. Но они прислали письменные показания, данные под присягой, однако эти показания могут только ухудшить мое положение.

Доктор Джонс показал под присягой, что я святой и мученик за праведное дело нацизма. Добавил, что видел такие великолепные, как у меня, арийские зубы только на фотографиях Гитлера.

Крафт-Потапов заявил под присягой, что русская разведка не нашла никаких доказательств того, что я являлся американским агентом. Он не сомневается, что я убежденный нацист, однако не могу отвечать за свои поступки, потому что профан в политике, художник, который часто путает реальность и вымысел.

Те трое, что взяли меня под надзор в квартире доктора Эпштейна — портной, часовщик и педиатр, — столь же бесполезны для меня, как и Бернард О'Хара.

Говард У. Кэмпбелл — такова твоя жизнь!

Мой израильский адвокат, мистер Элвин Добрович, запросил из Нью-Йорка всю накопившуюся за время моего отсутствия почту, безрассудно надеясь найти в ней какие-то доказательства моей невиновности.

Что ж, вперед.

Сегодня я получил три письма. Сейчас стану вскрывать письма по порядку и передавать их содержание. Говорят, в сердцах людей всегда живет надежда. Во всяком случае, она живет в сердце Добровича — наверное, поэтому он так много берет за свои услуги.

Малейшее доказательство, что существовал такой человек, как Фрэнк Виртанен, сделавший меня американским агентом, — залог моей свободы, утверждает Добрович.

Итак — перейдем к полученным письмам.

Первое начинается довольно тепло. «Дорогой друг» величают меня, несмотря на все приписываемые мне злодеяния. Значит, я до сих пор считаюсь учителем. Кажется, я уже рассказывал, как моя фамилия попала в лист возможных работников просвещения, после чего я стал регулярно получать по почте методические материалы для использования в работе с молодежью.

Написанное от руки письмо было от фирмы «Креативные игры»:

«Дорогой друг (так называл меня, сидящего в Иерусалимской тюрьме, представитель фирмы). Не хотели бы вы способствовать созданию

творческой атмосферы для своих учеников у них дома? То, что происходит с ними за стенами школы, очень важно. Ребенок находится под вашим наблюдением около двадцати пяти часов в неделю, тогда как с родителями проводит за это же время не менее сорока пяти часов. Действия родителей могут усложнить вашу задачу как преподавателя или облегчить ее.

Мы считаем, что игры, предлагаемые нашей фирмой, будут стимулировать в семьях ваших учеников ту творческую активность, какую вы стараетесь пробудить у своих юных воспитанников.

Чем помогут вам “Креативные игры”?

Наши игрушки отвечают физическим потребностям растущих детей. Они помогают ребенку узнавать особенности жизни дома и в обществе и находить решения в разных ситуациях. Игры дают возможность ребенку проявить свою индивидуальность, что не всегда получается при групповом школьном воспитании.

Такие игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности...»

На что я отвечаю:

«Дорогие друзья! Как человек, имеющий большой опыт в семейной и общественной жизни и знающий людей не понаслышке, сомневаюсь, что какие-нибудь игрушки могут подготовить ребенка даже к одной миллионной тех испытаний, что ждут его в реальной жизни.

Я лично убежден, что ребенок с первых дней жизни должен, если это возможно, иметь дело с реальными людьми и реальным обществом. Только в том случае, если по каким-либо причинам это не получается, можно прибегнуть к игрушкам.

Но не к тем привычным, симпатичным, приятным, легким в обращении игрушкам, которые рекламируются в вашей брошюре, друзья. В игрушках наших детей не должно быть ничего гармоничного — в противном случае они вырастут в ожидании мирного и спокойного будущего, и тут их сожрут заживо.

Что до борьбы с детской агрессивностью — я против этого. Им нужно сохранить свою агрессивность, чтобы преуспеть во взрослом мире. Попробуйте назвать хотя бы одного великого человека в истории, который не бурлил и не кипел бы в детстве от подавляемых, словно с помощью предохранительного клапана, эмоций.

Позвольте напомнить вам, что дети, находящиеся под моей опекой примерно двадцать пять часов в неделю, вовсе не расслабляются в течение тех сорока пяти часов, что проводят с родителями.

Поверьте мне, они не играют в Ноев Ковчег с вырезанными из дерева фигурками животных. Дети постоянно следят за взрослыми, чтобы понять, за какие ценности те борются, чего жаждут, чем утоляют эту жажду, почему и как они лгут, отчего сходят с ума, какие безумства их подстерегают.

Я не сумею предсказать, в каких именно областях преуспеют мои ученики, но могу гарантировать им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе.

Сторонник реалистической педагогики,

*Искренне ваш,
Говард У. Кэмпбелл-младший».*

Второе письмо?

Оно тоже адресовано Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, который именуется, как и в предыдущем письме, «дорогим другом», и это свидетельствует о том, что, по крайней мере, двое из трех авторов писем не таят на меня зла. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно стремится затронуть капиталистическую струнку моей души.

Мне предлагалось купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я это сделаю, мне могли бы предоставить надежную информацию о компании. Например, насколько хороша у нее репутация и достаточно ли умелое руководство.

Я не вчера родился.

Третье письмо? Его прислали мне прямо в тюрьму.

На самом деле любопытное письмо. Приведу его целиком:

«Дорогой Говард!

Жизненный порядок ныне рушится как легендарные стены Иерихона. Кто же Иисус Навин и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я это

знать. Музыка, которая разрушает старые стены, негромкая. Она тусклая, рассеянная и специфическая.

Может, это музыка моей совести? Сомневаюсь. Я не сделал вам ничего плохого.

Наверное, музыка — зудящее желание бывшего солдата пойти на небольшую измену. Мое письмо и есть эта измена.

В нем я нарушаю прямые и четкие приказы, отданные мне ранее, в интересах Соединенных Штатов Америки.

Я называю вам свое настоящее имя и заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена.

Меня зовут Гарольд Дж. Спэрроу. Уходя в отставку, я был в чине полковника армии Соединенных Штатов. Мой личный номер 0—61134. Я жив, меня можно увидеть, услышать и потрогать практически в любое время внутри или поблизости единственного дома в Коггинз-Понд, в шести милях западнее Хинкливилла, штат Мэн.

Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как американского агента, и вы, жертвуя, как оказалось, слишком многим, стали одним из самых ценных агентов во Второй мировой войне.

Если над Говардом У. Кэмпбеллом-младшим состоится суд, затеянный силами фарисействующих националистов, пусть это письмо сыграет в нем роль адской бомбы!

Искренне ваш,
Фрэнк».

Итак, я могу снова стать свободным человеком — вольным, как птица.

От подобной перспективы меня тошнит.

Сегодня ночью я собираюсь повесить Говарда Кэмпбелла-младшего за преступления, совершенные против самого себя.

Я знаю, что сегодня наступит та — главная ночь.

Говорят, будто человек, когда его вешают, слышит великолепную музыку. Жаль, что я, как и отец, напрочь лишен слуха в отличие от своей музыкальной матери. Во всяком случае, я надеюсь, что в последний момент не услышу «Белое Рождество» Бинга Кросби.

Прощай, жестокий мир!

Auf Wiedersehen?

Содержание

Вступление	7
От редактора.....	10

ИСПОВЕДЬ ГОВАРДА У. КЭМПБЕЛЛА-МЛАДШЕГО

<i>Глава 1.</i> Тиглатпаласар III.....	17
<i>Глава 2.</i> Особая команда.....	21
<i>Глава 3.</i> Брикетты.....	23
<i>Глава 4.</i> Кожаные ремни.....	25
<i>Глава 5.</i> Последняя полная мера.....	27
<i>Глава 6.</i> Чистилище	31
<i>Глава 7.</i> Автобиография.....	32
<i>Глава 8.</i> Auf Wiedersehen.....	36
<i>Глава 9.</i> Появление Моей Волшебной Крестной.....	39
<i>Глава 10.</i> Романтика.....	46
<i>Глава 11.</i> Неизрасходованные армейские запасы.....	49
<i>Глава 12.</i> Странные вещи в моем почтовом ящике.....	57
<i>Глава 13.</i> Его Преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д.Х., Д.Б.	64
<i>Глава 14.</i> Взгляд сверху на лестницу, ведущую вниз.....	70
<i>Глава 15.</i> Машина времени.....	75
<i>Глава 16.</i> Хорошо сохранившаяся женщина.....	76
<i>Глава 17.</i> Август Крапптауер отправляется в Валгаллу.....	80

<i>Глава 18. Красивая синяя ваза Вернера Нота...</i>	85
<i>Глава 19. Малышка Рези Нот...</i>	93
<i>Глава 20. Вешательницы берлинского вешателя.....</i>	96
<i>Глава 21. Мой лучший друг...</i>	100
<i>Глава 22. Содержимое старого чемодана...</i>	105
<i>Глава 23. Глава шестьсот сорок третья...</i>	112
<i>Глава 24. Полигамный Казанова...</i>	118
<i>Глава 25. Ответ коммунизму...</i>	123
<i>Глава 26. В этой главе увековечена память рядового Ирвинга Бучанона и еще кое-кого...</i>	124
<i>Глава 27. Нашел — мое.....</i>	129
<i>Глава 28. Мишень...</i>	132
<i>Глава 29. Адольф Эйхман и я...</i>	136
<i>Глава 30. Дон Кихот...</i>	144
<i>Глава 31. «Дело его живет...».....</i>	147
<i>Глава 32. Розенфельд.....</i>	154
<i>Глава 33. Коммунизм поднимает голову.....</i>	164
<i>Глава 34. Alles Kaput...</i>	165
<i>Глава 35. Сорок рублей в придачу..</i>	167
<i>Глава 36. Все, кроме визга.....</i>	171
<i>Глава 37. Это старое золотое правило.....</i>	175
<i>Глава 38. О, сладкая тайна жизни...</i>	182
<i>Глава 39. Рези Нот сходит со сцены...</i>	188
<i>Глава 40. Снова свобода.....</i>	191
<i>Глава 41. Химикаты.....</i>	192
<i>Глава 42. Ни голубя, ни завета...</i>	197
<i>Глава 43. Святой Георгий и дракон...</i>	200
<i>Глава 44. Кэм-буу.....</i>	208
<i>Глава 45. Черепаха и заяц.....</i>	214

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Воннегут Курт

МАТЕРЬ ТЬМА

Роман

Ответственный редактор *Г. Веснина*

Художественный редактор *Е. Фрей*

Технический редактор *Г. Этманова*

Компьютерная верстка *Е. Кумшаева*

Корректор *О. Супрун*

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Наш электронный адрес: **www.ast.ru**

E-mail: **neoclassic@ast.ru**

ВКонтакте: **vk.com/ast_neoclassic**

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: **www.ast.ru**

E-mail: **neoclassic@ast.ru**

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;

E-mail: **RDC-Almaty@eksmo.kz**

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 23.03.2017. Формат 76x100^{1/32}.
Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,85.
Тираж 7000 экз. Заказ 2975.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-17-099474-8



9 785170 994748 >

BOOK24.RU



BOOK24.RU



Курт Воннегут — культовая фигура в литературе двадцатого века. Американский писатель, сатирик, журналист и художник, перед глазами которого прошел чуть ли не весь двадцатый. Многие важнейшие события этого сумасшедшего века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами. В творческой манере Воннегута сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор.

КУРТ

ВОННЕГУТ



Один из лучших, самых глубоких и страстных романов Курта Воннегута — роман, неожиданно для него простой и реалистичный по форме. История Говарда Кэмпбелла — героя и преступника, американского писателя, живущего в гитлеровской Германии, разведчика, вынужденного выдавать себя за ярого нациста и вести пропагандистские передачи на радио.

Можно ли во имя победы добра служить злу? Проповедовать насилие, даже если знаешь, что в конечном итоге это поможет прервать смертельный ход безжалостной машины для убийства? Где грань между Светом и Тьмой и как удержаться на этой грани? Курт Воннегут задает себе и всем нам один из вечных вопросов, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым.

ISBN 978-5-17-099474-8



9 785170 994748



**МАТЕРЬ
ТЬМА**

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А